

Медики, юристы и религиозные деятели недавно столкнулись с проблемой так называемых “мистических препаратов”, которые, по имеющимся у нас сведениям, не причиняют явного вреда организму, но вызывают изменения в сознании, сравнимые с самыми возвышенными эстетическими и религиозными переживаниями. В этой книге один из ведущих исследователей в области психологии религии дает объективную оценку этих препаратов, а также повествует о своих личных экспериментах с ними.

Приводимые автором описания его переживаний звучат ярко, поэтично и содержат ценные сведения об изменениях, происходящих в человеческом сознании. Эти изменения охватывают широкий спектр переживаний от проблесков эстетического видения природы до философского видения существования в мире как комедии, одновременно inferнальной и божественной. При этом исследователь приходит “не только к космологии единства, но и к космологии радости”.

Предисловие к книге написано Тимоти Лири и Ричардом Альпертом, в прошлом сотрудниками Отделения психологии Гарвардского университета. Книга сильна еще и тем, что содержит фотографии природных объектов, которые дополняют увлекательное повествование.

“...трогательное введение в одну из самых современных сфер исследования человечеством самого себя”.

- *Newsweek*

“Жителям Друид-Хайтс”

От переводчика:

Бессрочно и безвозмездно перевод этой книги предоставляется в пользование всем, кто найдет его интересным, актуальным, забавным, бесполезным, вредным, опасным. Если же кто пожелает опубликовать его на бумаге, никаких проблем, только, пожалуйста, сообщите переводчику (который заранее приносит извинения за допущенные неточности и пропущенные буквы). Ему же, то бишь переводчику, можно направлять любые жалобы и предложения.

Предисловие Тимоти Лири и Ричарда Альперта

“Космология радости” представляет собой блестящую комбинацию слов, описывающих переживания, для которых в нашем языке слов не существует. Чтобы понять эту прекрасную, но трудную книгу, нужно провести искусственное различие между внешним и внутренним. Однако, по мнению Алана Уоттса, именно это различие мы должны оставить позади. С этой целью мистер Уоттс предлагает нашему вниманию словесную игру на языке Запада. Читателю, принявшему участие в этой игре, можно простить то, что он придерживается традиционных двойственных моделей.

Внешнее и внутреннее. Поведение и сознание. Наша цивилизация преуспела в изменении окружающего мира, и стремление его преобразовать стало для нее наваждением. За последние два столетия пристального внимания к внешнему миру западные монотеистические культуры научились манипулировать объектами с потрясающей эффективностью. Однако в последние годы наша цивилизация стала перед лицом вопиющего дисбаланса. Мы узнали о существовании неоткрытой внутренней вселенной, о неисследованных пространствах сознания.

Диалектика нашего развития известна уже давно. Этот цикл повторялся в жизнях многих индивидов и целых народов. За внешним материальным успехом следует разочарование и поиски ответов на фундаментальные “почему”, а затем открытие внутреннего мира. Этот мир бесконечно богаче и сложнее, нежели искусственные структуры внешнего мира, оказывающиеся впоследствии всего лишь плодами человеческого воображения. В конце концов логический концептуальный разум обращается к самому себе и осознает глупое несоответствие своих хрупких построений тому миру, которому они были навязаны. Тогда он ослабляет свой жесткий контроль и освобождается от ограничений рационального познания.

Мы говорим здесь (а Алан Уоттс в своей книге) о политике, которую проводит нервная система человека, — и которая так же сложна и важна, как и внешняя политика государства. Политика нервной системы настраивает ум против мозга, и тогда деспотичный рациональный рассудок отмежевывается от организма и мира, частью которого этот организм является, и начинает контролировать, предостерегать, оценивать.

Так появляется пятая свобода — свобода от обусловленного культурного разума. Свобода расширять сознание за пределы искусственных культурных построений. Свобода перейти от нескончаемых словесных игр — социальных, эгоистических — к радостному единству запредельного.

Здесь мы имеем дело с тем, что давно уже не ново, и над чем в течение столетий задумывались мистики, философы с религиозным опытом и немногочисленные подлинно великие ученые, которые умели выходить за пределы сферы научных игр и возвращаться в нее. Американский психолог Вильям Джемс осознал и недвусмысленно выразил этот факт:

“... наше обычное бодрствующее сознание, — рациональное сознание, как мы его называем, — это всего лишь одна частная разновидность сознания, тогда как везде вокруг нас за тончайшей завесой находятся потенциальные возможности сознания всецело иного. Мы можем пройти сквозь жизнь, не подозревая об их существовании, но достаточно лишь приложить некоторые усилия, и мы почувствуем, что они рядом и во всей своей полноте, эти характерные типы ментальности, которые, возможно, имеют право на существование и приложение в какой-нибудь другой сфере бытия. Ни одно описание вселенной в ее целостности не может быть окончательным, если оно не принимает во внимание эти другие формы сознания. Все дело в том, как их рассматривать, — ибо они не являются продолжением обычного сознания. Они расширяют спектр восприятия, хотя и не дают готовых описаний; они

открывают новые пространства, но не предлагают их карты. Известно одно: они запрещают преждевременное сведение счетов с реальностью. Оглядываясь на свои собственные переживания, я нахожу, что они сходятся как к центру к своеобразному постижению, которому я не могу не придавать мистический смысл”.

Однако что это за усилия, которые нужно приложить для преодоления господства концепций и открытия “потенциальных возможностей всецело иного сознания”? Существует много таких. Индийские философы описали сотни различных методов. То же сделали японские буддисты. Монастырские традиции наших западных религий также дают некоторые примеры. В течение столетий мексиканские целители и жрецы южноамериканских и североамериканских индейцев использовали священные растения для того, чтобы с их помощью вызывать изменения в сознании. Недавно наша западная наука, синтезировав некоторые вещества, также получила весьма эффективные средства для открытия новых сфер восприятия.

Чтобы “пробуждать довольно интенсивное мистическое сознание”, Вильям Джемс использовал оксид азота и эфир. В наши дни внимание психологов, философов и теологов сосредоточено на трех синтетических веществах: мескаLINE, лизергиновой кислоте и псилоцибине.

Что известно об этих веществах? Лекарства это, наркотики или сакраментальные снадобья? Легче сказать, чем они не являются. Эти вещества нельзя назвать наркотическими, опьяняющими, возбуждающими, анестезирующими или успокаивающими. Это скорее биохимические переключатели, которые открывают путь к переживаниям, всецело новым для многих людей Запада.

В течение последних двух лет ученые из Центра исследований личности при Гарвардском университете систематически экспериментировали с этими веществами. Наши первые исследования биохимического расширения сознания были изучением реакций американцев, которые принимали эти вещества в благоприятной, естественной обстановке. У нас была возможность наблюдать за более чем тысячей индивидуальных сеансов. На основе наблюдений, интервью и репортажей, на основе данных, полученных из вопросников, а также из анализа изменений в тестовых показателях личности после эксперимента мы сделали следующие выводы:

1. Эти вещества действительно вызывают изменения в сознании. В этом не может быть никаких сомнений.

2. Не имеет смысла говорить более конкретно об “эффекте этих препаратов”. Установки и обстановка, ожидания и атмосфера, в которой проходит эксперимент, определяют все конкретные особенности реагирования. Нет такого понятия как “реакция на препарат”; реакция всегда определяется препаратом-и-обстановкой.

3. Говоря о потенциальных возможностях, целесообразно принимать во внимание не столько препарат-и-обстановку, сколько потенциальные возможности коры головного мозга породить образы и переживания, выходящие далеко за пределы узкого круга слов и идей. Участники исследований, выполнявшихся в рамках проекта, проводили много времени, слушая рассказы о переживаниях, через которые прошли люди под влиянием веществ, изменяющих сознание. Если мы заменим слово “препарат” на слова “кора головного мозга”, мы сможем согласиться с любыми утверждениями о его потенциальных возможностях — хорошими и плохими, полезными и пагубными, приятными и пугающими. Все это потенциальные возможности нашего мозга, а не вещества. Вещество выступает в роли катализатора.

При анализе и интерпретации результатов наших изысканий мы обращались прежде всего к традиционным моделям современной психологии — к психоанализу и бихевиоризму — и пришли к заключению, что эти представления неудовлетворительно объясняют насыщенность и

разнообразии измененных состояний сознания. Чтобы осмыслить наши открытия, мы были вынуждены прибегнуть к понятиям и точкам зрения, которые довольно чужды нам — людям, воспитанным в традициях механистической объективной психологии. Нам снова и снова пришлось возвращаться к недуалистическим представлениям восточных философий, к теории сознания, которую предложили Западу Бергсон, Олдос Хаксли и Алан Уоттс. В первой части настоящей книги мистер Уоттс с замечательной ясностью излагает именно ту теорию сознания, которая была подтверждена в личных экспериментах наших добровольцев — философов, необразованных заключенных, домохозяек, интеллектуалов, алкоголиков. Скачок от хитросплетения вербальных ограничений к отождествлению со всей целостностью окружающего мира — вот феномен, снова и снова повторяющийся в отчетах испытуемых.

Алан Уоттс повествует о своих визионерских переживаниях красноречиво и детально. Разумеется, он пытается сделать невозможное — выразить в словах (которые всегда лгут) то, что лежит за пределами слов. Однако как хорошо ему это удается!

Алан Уоттс — один из выдающихся писателей нашего времени. Он наделен интуитивной чувствительностью к новому; он прекрасно разбирается в основных событиях и тенденциях современности. И наряду с этим он обладает концептуальной базой философа-поэта, призвание которого учить и разъяснять. В своей книге он дал нам, возможно, одну из лучших формулировок мистицизма космической эпохи — даже более дерзновенную, нежели две классические работы Олдоса Хаксли, ведь Уоттс идет вместе с Хаксли, а затем проникает еще дальше. Особенно важен акцент, который он делает на любовном аспекте мистических переживаний и новых возможностях общения в коллективе.

В ваших руках находится великий человеческий документ. Однако, если вы не являетесь одним из немногих людей Запада, которые (случайно или благодаря химической удаче) пережили мистическое состояние расширенного сознания, возможно, вы не поймете, о чем эта книга. Очень жаль, однако это не удивительно. История идей убедительно свидетельствует, что все новые представления и предсказания вначале не встречали понимания. Мы не можем осмыслить то, для чего у нас не существует слов. Однако Алан Уоттс играет в своих книгах в словесные игры, и читатель — его постоянный партнер.

Просто слушайте. Будьте готовы. В этой книге есть десятки незабываемых строк, целые дюжины великих идей. Слишком много. Слишком концентрированно. Слишком уж быстро они проносятся перед нами. Внимайте им.

Если вам удастся понять хотя бы несколько из этих идей, у вас возникнут вопросы, которыми задавались мы, анализируя данные проведенных экспериментов. А что дальше? Каковы возможные использования этих новых удивительных веществ? Могут ли они вдохновить на что-то большее, нежели несколько памятных переживаний и несколько памятных книг?

Ответ придет с двух сторон. Мы должны дать возможность многим пройти через эти переживания и выслушать всех тех, кто, как Алан Уоттс в этой книге, может рассказать о них. (Едва ли когда-либо будет нехватка людей, добровольно желающих отправиться в это экстатическое путешествие. Девяносто один процент опрошенных сказали, что они с нетерпением ждут новой возможности пережить состояние расширенного сознания и желают разделить его со своими знакомыми и близкими.) Мы должны также всячески поощрять систематических и объективных исследователей, которые сами принимали эти вещества и постигли, в чем различие между внутренним и внешним, между сознанием и поведением. Такие исследования должны пролить свет на возможные использования этих переживаний в современной жизни — в образовании, религии, творчестве и искусстве.

Многие верят, что мы стоим у важной поворотной точки на пути человека к расширению сферы восприятия и господству над окружающим миром. Наши исследования дают основания

для подобного оптимизма. “Космология радости” — это еще одно убедительное свидетельство того, что наши ожидания вполне оправданны.

Тимоти Лири, док. филос.

Ричард Альперт, док. филос.

Гарвардский университет, январь 1962

Предисловие автора

В своей книге “Врата восприятия” Олдос Хаксли предложил нам прекрасное описание воздействия мескалина на крайне восприимчивого человека. Это был отчет о его первом переживании замечательного преобразования сознания, и сейчас, благодаря последующим экспериментам, он знает, что подобные переживания могут приводить к более глубоким постижениям, нежели те, о которых он повествует в своей книге. И хотя у меня нет оснований надеяться, что мне удастся превзойти Олдоса Хаксли в мастерском владении английским языком, мне кажется, что пришло время для обнародования более глубокого и возвышенного уровня постижения, которое может быть достигнуто посредством “препаратов, изменяющих сознание” при условии, что их принимает человек, занятый настойчивыми философскими поисками, ищущий не приятных переживаний, а понимания. Необходимо, наверно, отметить, что для меня философские размышления теряют всякий смысл, если они не получают отклика в поэтическом воображении, ведь мы познаем мир, стоя на двух ногах, а не на одной.

Часто можно услышать, что в наши дни ученые очень редко объясняют обычным людям свои теоретические построения, поскольку обыватели не понимают математических терминов, которыми мыслят ученые. Так, например, представление об искривленном пространстве не может быть выражено с помощью образа, доступного нашим органам чувств. Однако еще больше я обеспокоен дистанцией между теоретическими описаниями и непосредственными переживаниями у самих ученых. В настоящее время западная наука выработала новое представление о человеке, согласно которому он является не одиноким эго, заключенным в стенах своей плоти, а организмом, который своим существованием обязан неотделимости от остального мира. Но, за очень редкими исключениями, даже ученые не переживают своего существования подобным образом. Они — да и почти все мы — продолжаем чувствовать себя независимыми, изолированными личностями, которые живут каждая на своем необитаемом острове в отчуждении от окружающего космоса. Однако так или иначе этот разрыв следует преодолеть, и среди многочисленных средств к достижению этой цели следует назвать вещества, которые открыли сами ученые, и принятие которых может оказаться таинством их религии.

Мы уже давно привыкли к разделению религии и науки, будто они представляют собой различные и по существу никак не связанные мировоззрения. Не думаю, что подобное состояние двойственности продержится долго. Рано или поздно его должно сменить видение мира, в котором нет научного и религиозного, а есть лишь наше собственное видение мира. Выражаясь более точно, можно сказать, что это должно быть такое мировоззрение, в котором научный и религиозный подходы так же согласованы, как наши зрение и слух.

Однако традиционные пути к духовным переживаниям редко привлекают людей научного и скептического темперамента, потому что экипаж, в котором им предлагается совершить путешествие, довольно расшатан и перегружен ненужным багажом. Таким образом невелика вероятность того, что проникательный рациональный человек из первых рук приобщится к тем состояниям сознания, о которых пытаются рассказать ему мистики и провидцы — чаще всего с помощью архаичных и неуклюжих символов. Если фармаколог поможет исследовать этот неведомый мир, он тем самым окажет нам хорошую услугу, спасая религиозные переживания от обскурантистов.

Чтобы эта книга могла как можно полнее выявить качество сознания под воздействием этих препаратов, я подобрал фотографии, на которых запечатлены красивые природные структуры, дающие представление о ритмическом совершенстве деталей, как они воспринимаются в

измененном состоянии в обычных объектах. Ведь создается впечатление, что, не теряя обычной широты видения, глаза становятся микроскопами, посредством которых разум погружается все глубже и глубже в замысловатый танец фактуры нашего мира.

Алан У. Уоттс

Сан-Франциско 1962

Понемногу становится ясным, что одним из величайших заблуждений является отделение ума от тела. Это не значит, что мы теперь вынуждены признать, что представляем собой всего лишь тело; это значит, что у нас начинает формироваться совершенно иное представление о теле. Ведь тело, рассматриваемое в отдельности от ума, — это не что иное как живой труп. Между тем тело, неотделимое от ума, представляет собой нечто всецело иное, поскольку на сегодняшний день у нас нет слов для описания не-ментальной и не-физической реальности. Называть ее ментально-физической также не имеет смысла, потому что таким образом мы получаем только неудачное сочетание двух представлений, смысл которых выхолощен их продолжительным противопоставлением друг другу. Но мы наконец-то можем отказаться от представления как о ментальном, так и о материальном веществе. Слово “вещество” обозначает бесформенную кашу, которую мы видим, когда органы восприятия не достаточно чувствительны, чтобы разглядеть ее структуру. Представление о материальном и ментальном веществе основывается на ложной аналогии, будто деревья сделаны из дерева, горы — из камня, а умы — из духа, подобно тому как горшки вылеплены из глины. Может показаться, “инертная” материя требует внешней и разумной энергии, чтобы придать ей форму. Однако теперь мы знаем, что материя не инертна. Будь она органической или неорганической, мы учимся видеть в ней структуры энергии — причем не структуры, сделанные из энергии, будто энергия является своеобразным веществом, а энергетические структуры, движущийся порядок, активный разум.

Однако постижение, что ум и тело, форма и материя являются одним и тем же, не может произойти из-за вековых семантических заблуждений и психологических предрассудков. Ведь общеизвестно, что каждая структура, форма и конфигурация является формой чего-то, подобно тому как горшок является формой глины. Нелегко понять, что это “нечто” является таким же условным, как эфир, в котором, как предполагали в прошлом, распространяется свет, или же как черепаха, на спине которой, как гласит легенда, покоится мир. Каждый, кто глубоко осознает это, переживает необычайно упоительное освобождение, поскольку бремя вещества больше не довлеет над ним, и передвигаться ему становится легче.

Дуализм ума и тела возник, должно быть, как неуклюжий способ описать возможности разумного существа контролировать свои действия. Представляется вполне естественным рассматривать контролирующего как одну вещь, а контролируемое как другую. Подобным образом сознательная воля противопоставляется непроизвольным желаниям, а разум — инстинктам. Через некоторое время мы привыкаем отождествлять свое естество, свое “я” с властвующей частью — с умом — и постепенно отдаляемся от подчиненной части, которая кажется нам всего лишь инструментом ума. Однако при этом мы упустили из виду, что организм как целое — по большому счету, бессознательное целое — использует сознание и разум для того, чтобы осмысливать и направлять себя. Мы решили, что наш сознательный разум пришел из высших сфер и вселился в физический организм. Поэтому мы не смогли увидеть в нем порождение того же самого процесса, что и структура нервов, мышц, кровеносных сосудов и костей — структура столь тонко настроенная (то есть, разумная), что сознательная мысль все еще очень далека от ее адекватного описания.

Глобальное разделение организма на контролируемую и контролирующую составляющие сделало человека существом не самоуправляемым, а саморазрушающимся — существом, в плоть и кровь которого вошли конфликты и противоречия, известные нам с незапамятных времен. Как только произошло это размежевание, сознательный разум начал служить самому себе вместо того, чтобы действовать в интересах организма, который его породил. Выражаясь более точно,

можно сказать, что у сознательного разума появилось намерение преследовать свои личные цели, не имеющие отношения ко всему организму. Тем не менее, как мы увидим, иллюзией является не только отделение ума от тела, но и подчинение тела независимым намерениям ума. Эта иллюзия так же реальна, как гипнотическая галлюцинация, и организм человека продолжает обманывать себя, демонстрируя структуры поведения, образующие замкнутый круг. Кульминацией этой иллюзии является общество, которое служит в большей мере целям механического порядка, нежели органического удовлетворения, движется к саморазрушению вопреки инстинктам каждого отдельного его представителя.

Таким образом мы верим, что ум контролирует тело, а не тело контролирует себя посредством ума. Отсюда укоренившийся предрассудок, утверждающий, что ум должен быть независимым от всех физических предпосылок своей деятельности — от микроскопов, телескопов, камер, линеек, компьютеров, книг, произведений искусства, алфавитов и других инструментов, без которых едва ли возможна ментальная жизнь вообще. И в то же время у нас имеется по крайней мере неявное осознание того, что в отождествлении себя с отдельным разумом, душой или эго что-то не так. И это естественно, ведь человек, видящий свою сущность в чем-то отличном от всего организма, — это в лучшем случае половинчатый человек. Он полностью отрезан от природы. Вместо того, чтобы быть телом, он “имеет” тело. Вместо того, чтобы жить и любить, он “обладает” инстинктами выживания и совокупления. Рассматриваемые как нечто постороннее, эти инстинкты овладевают человеком так, словно являются вселившимися в него слепыми фуриями или демонами.

Чувство, что во всем этом что-то не так, вращается вокруг противоречий, присущих всем цивилизациям. Большинству людей присуще одновременное стремление сохранить себя и забыть себя. Вот замкнутый круг: если ты чувствуешь себя отделенным от органической жизни, ты испытываешь стремление выжить; таким образом выживание — продление жизни любой ценой — становится долгом и в то же время бременем, потому что ты не можешь теперь полноценно участвовать в жизни. Так как жизнь при этом не соответствует твоим ожиданиям, ты продолжаешь надеяться, что рано или поздно она начнет соответствовать им, и поэтому хочешь прожить как можно дольше, чувствуешь себя обязанным продолжать представление. Таким образом, то, что мы называем самосознанием, является ощущением нецелостного организма, ставшего на своем пути, — это ощущение отчасти напоминает езду на автомобиле, когда одновременно жмут на газ и на тормоз. Понятно, что это неприятное ощущение большинство из нас предпочло бы забыть.

Плебейский способ забыть себя состоит в том, чтобы напиться, отвлечься или же прибегнуть к такому естественному средству само-трансценденции как половое сношение. Аристократический способ — окунуться в искусство, социальные заботы или религиозный мистицизм. Все эти способы редко бывают удачными, потому что не выявляют фундаментальной ошибки, которая лежит в основе конфликта. Изогранные способы даже усугубляют ошибку в той мере, в которой их поборники гордятся тем, что им удается забыть себя чисто ментальным путем — хотя художник для этой цели использует краски, общественный идеалист распространяет материальные средства, а религиозный человек прибегает к таинствам и ритуалам или же к таким физическим действиям, как голодание, дыхание йогов или танцы дервишей. В использовании физических средств проявляется здоровый инстинкт, перекликающийся с утверждениями мистиков, что знать о Боге недостаточно: преображение “я” наступает лишь после постижения или переживания Бога. Скрытый смысл этих слов в том, что человек не может начать жить правильно, изменив лишь строй мыслей, возникающих в его отчужденном разуме. Если ему что и нужно изменить, так это поведение его организма, который должен стать самоконтролирующимся, а не саморазрушающимся.

Как этого можно достичь? Ясно, что разум и сознательная воля ничего не могут сделать до тех пор, пока они продолжают чувствовать себя отделенными от всего организма. Когда же они начнут чувствовать себя неотделимыми от него, ничего уже не нужно будет делать! Небольшое количество восточных гуру, мастеров мудрости, и западных психотерапевтов — после многих проб и ошибок — нашли методы, позволяющие с помощью уловок и хитростей сделать организм целостным. Эти методы напоминают дзюдо, или “мягкий путь”, прекращающий процесс самообмана, доводя его до логического конца и абсурдных крайностей. Это прежде всего путь дзэн, но иногда и путь психоанализа. Когда эти методы достигают успеха, становится очевидным, что они делают нечто большее, нежели просто меняют образ — человек становится эмоционально и физически другим; все его существо теперь работает по-новому.

Для меня уже давно очевидно, что некоторые разновидности восточного мистицизма — в частности, даосизм и дзэн буддизм — не подразумевают разделения вселенной на духовную и материальную, но в то же время и не приводят к состоянию сознания, в котором физический мир воспринимается как недифференцированное бесформенное сияние. Даосизм и дзэн в равной мере основываются на философии относительности, однако эта философия не просто спекулятивна; это также дисциплина восприятия, имеющая своей целью достижение состояния, в котором единство вещей и событий воспринимается непосредственно и постоянно. Это состояние присутствует на фоне нашего обычного восприятия мира как набора различных независимых вещей — восприятия, которое называется в буддистской философии авидья (неведение), поскольку наблюдая мир таким образом мы уделяем особое внимание различиям и не принимаем во внимание взаимосвязей. При этом мы не видим, в частности, что ум и форма, или форма и пространство, так же неотделимы друг от друга как перед и зад, а также что индивид вплетен во вселенную и образует с ней нерасчленимое целое.

Это точка зрения, которая, в отличие от других разновидностей мистицизма, не отрицает физических различий, но видит их как очевидные проявления единства. Если посмотреть на китайский пейзаж, становится ясно, что отдельные деревья и камни пребывают не в пространстве, которое составляет его фон, а вместе с этим пространством. Бумага, нетронутая кистью, является неотъемлемой частью картины, а не ее обычным фоном. Именно по этой причине мастер дзэн, когда у него спрашивают о всеобщем и окончательном, отвечает словами о непосредственном и частном: “Кипарис во дворе!” Здесь мы сталкиваемся с тем, что Роберт Линссен назвал духовным материализмом [\[1\]](#) — который намного ближе к теории поля и теории относительности, нежели к любому религиозному абстракционизму. Однако тогда как научное понимание относительной вселенной по-прежнему является в значительной мере теоретическим, эти восточные пути превращают его в непосредственное переживание. Таким образом потенциально они являются замечательным дополнением западной науки, но только на уровне непосредственного восприятия мира.

Наука следует общепринятым представлениям о естественном мире как о множестве индивидуальных вещей и событий, пытаясь описать эти его элементы как можно точнее и детальнее. Поскольку наука прежде всего аналитична в своем описании вещей, вначале она, как может показаться, разобщает вещи еще больше. Научные эксперименты представляют собой изучение тщательно отобранных ситуаций, что дает возможность исключить влияния, не поддающиеся учету и измерению — с этой целью, например, изучают падение тел в вакууме, чтобы исключить сопротивление воздуха. Однако по этой же причине ученый лучше чем кто-либо другой понимает, насколько взаимосвязаны вещи. Ведь чем больше он стремится оградить течение эксперимента от внешних влияний, тем яснее он обнаруживает новые влияния, о существовании которых раньше не подозревал. Чем детальнее он изучает, скажем, движение данной частицы, тем больше описание ее движения включает в себя также и характеристику

пространства, в котором она движется. постижение взаимосвязи вещей пропорционально стремлению человека видеть их полностью независимыми. Таким образом, когда наука начинает говорить о вещах и событиях как свойствах “полей”, в которых они происходят, она выходит за пределы общепринятых представлений, лежащих в ее основе.

Однако все это является лишь теоретическим описанием состояния дел, которое, в случае восточного “мистицизма”, переживается непосредственно. Осознание этого послужит прочной основой для необычайно плодотворного взаимного обогащения восточного и западного мировоззрений.

Практическая трудность здесь в том, что даосизм и дзэн столь неотделимы от культуры Дальнего Востока, что приспособить их для западных нужд необычайно трудно. Так, например, восточные учителя руководствуются эзотерическим и аристократическим принципом, согласно которому ученик должен прилагать невероятные усилия и постигать все почти полностью самостоятельно. Помимо редких намеков, учитель лишь подтверждает или не подтверждает находки ученика. В то же время западные учителя работают на экзотерических и демократических началах, основная идея которых — сделать все возможное, чтобы облегчить процесс обучения. Является ли подход западных учителей, как утверждают пуристы, всего лишь опощением восточной дисциплины? Ответ состоит в том, что все зависит от типа учебного процесса. Поскольку многие изучили математику настолько, чтобы уметь решать квадратные уравнения, это умение покажется незначительным в сравнении с намного более редким знанием теории чисел. Однако преобразование сознания, к которому стремятся даосизм и дзэн, больше напоминает коррекцию восприятия или излечение болезни. Ведь оно скорее подразумевает не приобретение новых и новых знаний и не овладение как можно большим числом навыков, а забывание ложных мнений и пагубных привычек. Как сказал Лао-цзы, ученьй приобретает ежедневно, тогда как даос ежедневно теряет.

Поэтому практика даосизма и дзэн на Востоке является начинанием, которое, как покажется западному человеку, сопряжено с многими препятствиями, специально воздвигнутыми перед учеником, чтобы помочь ему преодолеть ложное любопытство и устранить неправильные мнения путем побуждения к систематическим действиям на основе ошибочных представлений и доведения тем самым этих представлений до очевидного абсурда. Самое интересное в изучении различных мистических традиций для меня в том, чтобы выявлять за вторичными наслоениями фундаментальные психологические процессы, которые лежат в основе измененного восприятия, позволяющего нам видеть себя и мир в основополагающем единстве. Возможно, следуя западной традиции преподавания, мне удалось достичь некоторого успеха в попытках как можно вразумительнее разъяснить суть этих переживаний. Поэтому я одновременно удовлетворен и приведен в замешательство успехами западной науки, которая, по всей вероятности, оказалась в состоянии необычайно простыми средствами дать это целостное видение мира многим, кто уже давно и безуспешно ищет его традиционными методами.

Отчасти гений западной науки состоит в том, что она находит более простые и рациональные пути достижения того, что раньше казалось случайным и трудоемким. В ходе научного поиска, как в любом изобретательском процессе, подобные открытия не делаются систематически; время от времени ученые случайно натываются на них, а затем находят им место в мире своих представлений. В медицине, например, наука выделяет собственно лекарство из знахарского снадобья, состоящего из истолченных в порошок саламандр, болотного зелья, черепов и сухой крови. Чистое лекарство лечит более надежно, однако — само по себе не гарантирует здоровья. Пациент должен изменить свой образ жизни и диету, которая сделала его предрасположенным к болезни.

Возможно ли, в таком случае, что западная наука откроет лекарство, которое даст

организму по крайней мере толчок к освобождению от хронического противоречия? Действие такого препарата скорее всего придется поддерживать другими средствами — с помощью психотерапии, “духовных” упражнений или глобальных изменений в образе жизни. Между тем каждый больной нуждается в своеобразном первом толчке, чтобы начать путь к выздоровлению. Поставленный вопрос не потеряет смысла и тогда, когда мы признаем, что болен не один лишь ум, но и весь организм, вся наша нервная система и мозг. Первоначальный вопрос можно сформулировать и так: существует ли лекарство, которое может дать нам временное ощущение гармонии и целостности со своим телом и природой, о которой теоретически рассуждают биологи? Если это так, то такое переживание предлагает нам ключ ко всему, что мы вообще можем сделать, чтобы полностью и навсегда вернуть себе целостность. Это может быть не что иное как ариаднина нить, выводящая нас из лабиринта, в котором мы заблудились с раннего детства.

Относительно недавние исследования показывают, что существуют по меньшей мере три таких вещества, хотя ни одно из них не является “идеальным” во всех случаях. Их действие зависит от человека, а также от социальных и психологических условий, в которых оно принимается. Иногда воздействие этих веществ может быть пагубным, однако редкие нежелательные последствия не мешают нам использовать пенициллин — препарат зачастую намного более опасный, нежели вышеупомянутые три. Разумеется, я говорю здесь о мескаLINE (активном ингредиенте кактуса “пейот”), диэтиламиде d-лизергиновой кислоты (видоизмененном алкалоиде спорыньи) и псилоцибине (получаемом из грибов *Psilocybe mexicana*).

Кактус “пейот” давно использовался индейцами Юго-запада и Мексики как средство общения с божественным миром, а потребление в пищу сухих почек этого растения и сегодня является основным таинством индейской церкви, известной под названием Исконная американская церковь Соединенных Штатов — по всем сведениям в высшей степени порядочная христианская организация.

В конце XIX века действие пейота было описано Уэйром Митчелом и Хэвлоком Эллисом, а несколькими годами позже был выявлен его активный ингредиент мескалин — довольно легко синтезируемое вещество аминной группы.

Диэтиламид d-лизергиновой кислоты был открыт в 1938 году шведским фармакологом А.Хофманом в ходе изучения свойств грибов спорыньи. Довольно случайно, делая опыты по изменению молекулярной структуры, он принял небольшое количество этой кислоты и ощутил на себе ее психологическое действие. Дальнейшие эксперименты показали, что он случайно обнаружил самый сильный из ныне известных препаратов, изменяющих сознание, — поскольку ЛСД-25 (как его кратко называют) производит характерное действие даже в столь малых дозах, как 20 микрограмм, что соответствует одной семисотмиллионной доле веса среднего человека.

Псилоцибин получают из другого священного мексиканского растения — разновидности гриба, который там называют теонанакатл, или “плоть Бога”. Когда в 1936 году Роберт Уэйтлейнер обнаружил, что древний культ “священных грибов” по-прежнему жив в Оаксаке, несколько микологов, как называют специалистов по грибам, начали изучать грибы этой местности. Оказалось, что мексиканцами используются три их разновидности. Кроме известного культа гриба *Psilocybe mexicana*, был обнаружен также культ грибов *Psilocybe aztecorum* Heim и *Psilocybe Wassonii*, названных соответственно именами микологов Роджера Хейма и Гордона и Валентины Уоссон, принявших участие в церемониях.

Несмотря на многочисленные исследования и нагумевшие обсуждения, о действии этих веществ на нервную систему неизвестно практически ничего. Субъективное воздействие трех необычных препаратов практически одинаково, хотя ЛСД-25 — возможно, в силу малости

требуемой дозы — редко вызывает тошноту, часто возникающую при употреблении двух других веществ. Все научные статьи, которые я читал по этому вопросу, на первый взгляд, подтверждают смутную догадку, что каким-то образом эти вещества подавляют ингибиторно-селективную функцию нервной системы, так что в результате их воздействия наши органы чувств оказываются более открытыми для восприятия, нежели обычно. Наше неведение в отношении воздействия этих веществ связано, разумеется, с отсутствием адекватной теории работы мозга. Недостаток знаний, очевидно, требует великой осторожности при их использовании, однако вплоть до настоящего времени мы не располагаем сведениями о том, что при нормальной дозировке имеется вероятность пагубных физиологических последствий^[2].

Каждое из этих веществ может быть названо наркотиком в широком смысле слова, однако следует избегать серьезных семантических ошибок, ставя их в один ряд с наркотиками, которые вырабатывают физическое стремление к дальнейшему их использованию или же притупляют чувства, как алкоголь и успокаивающие средства. Обычно их классифицируют как галлюциногены — на редкость некорректный термин, поскольку, находясь под влиянием этих веществ, человек не слышит голосов и не видит видений, которые можно было бы принять за физическую реальность. И хотя под их воздействием при закрытых глазах в воображении действительно рождаются довольно сложные и, при поверхностном рассмотрении, “галлюциноподобные” видения, эффект этих веществ прежде всего проявляется в необычайном углублении восприятия. Нормальная доза каждого из них дает возможность переживать подобные явления в течение промежутка времени продолжительностью от пяти до восьми часов, и при этом переживания, как правило, оказываются настолько сильными и впечатляющими, что человек не желает повторять эксперимент, пока тщательно не “переварил” их, на что могут понадобиться многие месяцы.

Обычной реакцией образованных людей на идею о том, что под воздействием “наркотика” можно пережить психологическое или философское озарение, есть впечатление, что это как-то слишком просто, искусственно и недостойно серьезного рассмотрения. Мудрость, которую можно “включить” как электрическую лампу, на первый взгляд оскорбляет человеческое достоинство и сводит нас к химическим автоматам. Это сразу наводит на мысли о прекрасном новом мире^[3], где обитают синтетические будды, люди, которых лоботомировали, стерилизовали или загипнотизировали, только в другом направлении — так что эти люди потеряли свою человечность, и поэтому с ними, как с пьяными, невозможно по-настоящему общаться. Однако прекрасный новый мир — это призрачная фантазия, не имеющая никакого отношения к реалиям нашей жизни. Она навеивает на нас благоговейный ужас, сродни страху, который человек чувствует, встречаясь с неизвестным и принимая его как что-то угрожающее и неестественное. Нечто подобное отдельные люди чувствуют в отношении евреев, потому что те делают обрезание, или же в отношении негров, потому что они выглядят в нашем обществе “чужеродными”.

Несмотря на многочисленные невежественные предрассудки в отношении наркотиков как таковых, и несмотря на притязание отдельных религиозных традиций на то, что только они обладают путями к подлинно мистическому опыту, я не вижу существенных различий между переживаниями, вызванными, при благоприятных условиях, этими веществами и состояниями “космического сознания”, описанных Р.М. Бьюком, Вильямом Джемсом, Ивлин Андерхилл, Райнором Джонсоном и другими исследователями мистицизма. “Благоприятные условия” в данном случае означают социально и физически подходящую обстановку. В идеальном случае это должен быть дом отдыха (а не больница и не санаторий), где эксперименты проходят под присмотром религиозно ориентированных психологов и психиатров. Атмосфера должна быть скорее домашней, нежели клинической, но еще более важно — чтобы отношение организаторов

эксперимента было сочувственным и располагающим. В условиях опасности, при непривычных и угрожающих обстоятельствах, переживание может легко стать крайне неприятной паранойей. Для эксперимента следует отвести два дня: первый — собственно для переживания, длящегося от пяти до восьми часов, тогда как второй — для оценки пережитого в спокойном и расслабленном расположении духа, которое обычно наступает после переживания.

Все это означает, что к использованию этих столь сильнодействующих веществ нельзя относиться небрежно, как иной человек выкуривает сигару или выпивает коктейль. К их использованию следует относиться как к сакраментальному действию, хотя подобное отношение не должно исключать радости и юмора, как это происходит в наших религиозных ритуалах. Никогда не следует пренебрегать одним правилом: на эксперименте должен присутствовать квалифицированный специалист, который помогает не терять контакт с “реальностью” в ее общественном понимании. В идеале “квалифицированным специалистом” вполне может быть психиатр или клинический психолог, который сам неоднократно подвергался действию препарата. Но мне приходилось встречаться и с очень квалифицированными психологами, которые терялись при виде измененных состояний сознания, что в ущерб эксперименту быстро отражалось на переживаниях их подопечных. Таким образом, главное, чем должен обладать квалифицированный специалист, — это спокойная уверенность, которая легко передается людям, находящимся под воздействием препарата в состоянии обостренной чувствительности.

Обсуждаемые вещества не усиливают полового влечения, и поэтому, когда их принимает несколько человек одновременно, устанавливается атмосфера, не напоминающая ни всеобщую пьянку, ни оцепенение, царящее в притоне курильщиков опиума. Члены группы обычно становятся непредвзятыми и чувствуют сильную дружескую симпатию к ближним, поскольку в мистической фазе эксперимента глубинное единство, или “принадлежность друг другу” членов группы приобретает ясность физического ощущения. Фактически атмосфера в коллективе становится похожей на ту, к достижению которой стремятся — и которой почти никогда не достигают — священники во время причастия: к обстановке взаимопонимания, всепрощения и возвышенной любви. Разумеется, такое отношение не становится постоянным отношением к ближним, как не становятся постоянными и братские чувства, возникающие на религиозных собраниях. Переживания под воздействием этих веществ очень хорошо соответствуют теологическим представлениям о таинствах или милости — незаслуженном даре духовной силы, последствия которого зависят от его использования в дальнейшей жизни. Католическая теология также говорит о так называемых “необычайных” дарах, а нередко и мистических озарениях, которые нисходят на верующих внезапно, даже когда они не принимают причастие и не молятся, как предписывает Церковь. Мне кажется, что только предубежденный исследователь может прийти к выводу, что милость, даваемая нам посредством грибов, кактусов и научных открытий, является искусственной и незаконной по сравнению с той, которую дает нам религиозная дисциплина. Утверждения об исключительности достоинств какой-то одной традиции, увы, столь же характерны для официальной религии, сколь и для коммерции — только в случае религии к ним примешивается еще пуританское чувство вины за получение удовольствия от того, что человек не заслужил своими страданиями.

Когда я писал эту книгу, я давал себе отчет в том, что использование ЛСД может привести в общественному скандалу, особенно в Соединенных Штатах, где мы уже знакомы с современными проявлениями библейского запрета — принятием законов, предусматривающих фантастическое наказание за курение марихуаны. Отмечу, что принятию этих законов не предшествовало всестороннее научное исследование ее воздействия на человеческий организм в Соединенных Штатах, тогда как многие другие страны поспешили последовать нашему примеру.

Это было девять лет назад (в 1961 году), и с тех пор случилось самое худшее из всего, что я мог ожидать. — спрашиваю себя, стоило ли мне тогда писать эту книгу — не осквернил ли я тайну, не мечу ли бисер перед свиньями. Но я решил, что коли уж Хаксли и другие заговорили о тайне во всеуслышание, я должен способствовать распространению положительных и правдивых сведений о том, что мы теперь называем психоделическими веществами.

Однако все напрасно. Тысячи молодых людей, пресыщенные увещеваниями официальных религий, которые умеют только говорить и понукать, а также предлагают крайне неинтересные ритуалы, набросились на ЛСД и другие психоделики в поисках пути к подлинным религиозным переживаниям. Как и следовало ожидать, произошли нежелательные инциденты. Несколько потенциальных психотиков пересекли опасную черту — прежде всего потому, что принимали ЛСД в неблагоприятных обстоятельствах, в необычайно высоких дозах или же в безжизненной и угрожающей атмосфере госпиталей, персонал которых был убежден, что исследует искусственно вызываемую разновидность шизофрении. Поскольку узнают прежде всего о неудачах, эти случаи получили широкую огласку в прессе, которая избегает теперь печатать положительные материалы о красочных и запоминающихся психоделических переживаниях, напоминающих описанные мною в настоящей книге. Развод — это всегда новость, тогда как о счастливом браке почти никто не знает. В периодике были также намеренно искаженные публикации, как, например, нашумевшая история о нескольких молодых людей, которые, приняв ЛСД, смотрели на солнце, пока не ослепли. Психиатры подняли тревогу по поводу “разрушения мозга”, хотя подтверждений эта гипотеза так и не получила. Высказывались также опасения в связи с возможными генными мутациями. Были проведены соответствующие исследования и обнаружено, что психоделики влияют на гены не больше, чем кофе и аспирин.

В виду общественной истерии, компания “Сандоз”, получившая в свое время лицензию на производство ЛСД, перестала выпускать его на рынок. В то же время правительство Соединенных Штатов, которое не извлекло никаких уроков из библейского запрета, просто объявило ЛСД вне закона и предоставило решать все дальнейшие вопросы полиции. (Фактически, ЛСД была разрешена к использованию лишь в нескольких исследовательских проектах, спонсором которых выступали Национальный институт психического здоровья и военные ведомства, разрабатывающие химическое оружие.)

Однако преследовать распространение ЛСД практически невозможно, потому что это вещество без цвета и запаха, потому что большое количество одноразовых доз можно спрятать в очень малом объеме и потому что это вещество можно смешивать с чем угодно — от джина до промокательной бумаги. Поэтому как только чистые вещества производства компании “Сандоз” оказались недоступными, химики-любители начали производить ЛСД и сбывать ее на черном рынке в огромных количествах. Это была ЛСД сомнительного качества, непонятной дозировки, нередко с примесью других ингредиентов, таких как мефедрин, белладонна и героин. Поэтому число случаев заболеваний психозами, которые развились на почве принятия ЛСД, возросло, чему способствовало и то, что в условиях нелегальности и угрозы полицейского вмешательства принимающие ЛСД легко становились жертвами паранойи. В то же время некоторые химики-энтузиасты, в основном выпускники химических факультетов университетов, взяли на себя миссию “обращать других” и производили ЛСД относительно хорошего качества. Поэтому удачных экспериментов было намного больше, нежели неудачных, и число вдохновленных этой алхимией неуклонно росло. И хотя обыватели связывают употребление ЛСД с хиппи и студентами колледжей, ее очень широко использовали и люди, умудренные годами, — врачи, юристы, священники, художники, музыканты, бизнесмены, профессора и рассудительные домохозяйки.

Повальный запрет на ЛСД и другие психоделики привел к катастрофическим

последствиям, потому что (1) это серьезно помешало всесторонним научным исследованиям этих веществ; (2) это способствовало процветанию черного рынка, цены на котором возрастали; (3) полиция должна была делать невозможное; (4) это создало ложное очарование запретного плода; (5) это помешало нормальной работе правоохранительных органов, и препроводило тысячи невиновных людей в и без того переполненные тюрьмы, где, как известно, можно стать только гомосексуалистом и профессиональным преступником; (6) люди, принимающие ЛСД, подвергались большему риску паранойи, нежели когда-либо раньше^[4].

В чем же, в таком случае, основная опасность принятия настоящей ЛСД? Прежде всего в том, что ЛСД может вызывать более или менее продолжительные психозы у предрасположенных индивидов, и несмотря на обилие методов психологического и неврологического тестирования мы не умеем безошибочно выявлять потенциальных психотиков. Каждый, кто собирается принять психоделическое вещество, должен внимательно взвесить фактор риска: существует вероятность сойти с ума, по крайней мере, на некоторое время. Эта вероятность, должно быть, намного больше, нежели при полете в современном авиалайнере, но значительно меньше, нежели при поездке по городу в автомобиле во время пик. В каждом доме есть опасные вещи: электричество, спички, газ, кухонные ножи, тетрахлорид углерода (чистящее средство), аммоний, аэрозоли, алкоголь, скользкая ванна, гладкий пол, ружья, газонокосилки, топоры, стеклянные двери и плавательные бассейны. Не существует законов, которые запрещали бы приобретать и использовать эти вещи по назначению. Равно как никто не запрещает выращивать *Amanita pantherina* (крайне обманчивый и ядовитый гриб), паслён, раkitник, вьюнок пурпурный и многие другие ядовитые растения.

Одним из самых здравых принципов иудейской и (по крайней мере, теоретически) христианской теологии гласит, что ни одно вещество или существо само по себе не является плохим. Зло возникает вследствие неправильного использования — когда ножом убивают, когда с помощью спичек устраивают поджог, или когда, напившись пьяным, водитель наезжает на пешехода. (Обратите внимание также на то, что угнетенный, раздраженный и злой водитель не менее опасен, поскольку его внимание также не сосредоточено на дороге.) Мне кажется, что правосудие должно руководствоваться здравым принципом: человека следует преследовать в судебном порядке лишь тогда, когда он совершает явные и легко определяемые антиобщественные действия, причиняет ущерб, или намеревается причинить ущерб, жизни, телу или собственности других людей. Принятие законов, запрещающих распространение и приобретение вещей (кроме пулеметов и бомб), которые могут быть использованы неправильно, приводит к плачевным злоупотреблениям полномочиями полиции в угоду политическим амбициям или для преследования неугодных личностей. (Как легко подбросить марихуану своему конкуренту в бизнесе!) Все такие избыточные законы (законы, регулирующие нравственность человека и уличающие в преступлениях там, где нет невольных пострадавших) являются попытками сделать жизнь человека свободной от риска, или “защищенной от дурака”. Тем самым индивид не несет больше ответственности за свою собственную жизнь и не может по своему усмотрению рисковать для достижения политических, социальных, атлетических, научных и религиозных целей в том случае, когда такой риск кажется ему оправданным.

Искатели приключений и люди творчества всегда любили — и общество их, как правило, поддерживало — подвергать себя серьезному риску при изучении внешнего мира и при проведении научных и технических экспериментов. В наши дни многие молодые люди не только чувствуют, что пришло время исследовать внутренний мир, но и желают подвергнуться риску, который сопутствует подобным исследованиям. Таких людей также следует поощрять и поддерживать добрым словом и другими доступными нам средствами. Почему мы позволяем людям совершать такие чисто спортивные подвиги, как, например, покорение Эвереста (с

помощью кислородных масок), и запрещаем такие духовные приключения, как восхождения на горы Шумеру, Сион и Аналог (с помощью психоделиков).

На поверхностном уровне страх общества и официальных лиц перед психоделиками основывается на невежественном причислении этих веществ к таким оставляющим привязанность наркотикам, как героин, амфетамин и веронал. Однако выпить кофе или виски также означает “принять наркотик”, и это разрешено, хотя нежелательные последствия в этом случае могут быть довольно серьезны, а творческие достижения весьма незначительны. По существу, психоделические вещества внушают страх по той же причине, что и мистическое переживание, которое католические, протестантские и мусульманские власти не поощряют и даже осуждают. Ведь мистическое переживание приводит к разочарованию и равнодушию в отношении таких одобренных социальных благ, как статус и успех, к понимающей улыбке перед лицом претенциозности и помпезности и — что для них всего страшнее — к неверию в церковно-государственную догму, гласящую, что все мы — приемные дети Бога или случайные проблески разума в механической и бездушной вселенной. Ни одно авторитарное правительство, ни светское, ни духовное, не может примириться с тем, что каждый из нас является Богом в маске, и что наше подлинное, сокровенное, основное и неотъемлемое — не может умереть. Вот почему они должны были так жестоко поступить с Иисусом.

Поэтому, если хотя бы первый проблеск мистического переживания можно получить посредством принятия пилюли или жевания растения, вскоре этот проблеск смогут получить миллионы людей — которыми впоследствии трудно будет управлять силой “авторитета”. Даже сейчас в Соединенных Штатах признают, что основная опасность от психоделиков не столько неврологическая, сколько политическая — ведь “обращенные” люди не заинтересованы больше в том, чтобы играть в силовые игры нынешних правителей. Глядя на жизни тех, кто добился удачи в нашем обществе, эти люди видят сплошную скуку.

В эпилоге к настоящей книге я постараюсь показать, что психоделическое переживание — это только проблеск подлинного мистического озарения, однако этот проблеск можно углублять и развивать с помощью медитации, для которой психоделики не нужны. Услышав нужную информацию, человек кладет трубку. Дело в том, что психоделические вещества — это всего лишь инструменты, подобно микроскопам, телескопам и телефонам. Биолог не сидит постоянно, уставившись в микроскоп; он выходит из лаборатории и претворяет в жизнь свои открытия.

Более того, строго говоря, мистическое озарение заключено в самом веществе не больше, нежели знание биологии — в микроскопе. Не существует принципиального различия между углублением восприятия с помощью внешнего инструмента, такого как микроскоп, и углублением восприятия с помощью принятия инструмента внутрь, как происходит в случае с этими веществами. Если кому-то покажется, что такая возможность является оскорблением достоинства ума, тогда микроскоп, вне всяких сомнений, оскорбляет достоинство глаза, а телефон — уха. Строго говоря, психоделики вообще не дают мудрости, равно как микроскоп — знаний. Они дают материал, на почве которого произрастает мудрость, и поэтому полезны в той мере, в которой индивиду удастся вписать в свои представления и образ жизни то, что ему открылось. Как побег, как отдельный, оторванный от жизни экстаз, они могут иметь тот же смысл, что и полноценный отдых или хорошее развлечение. Однако такое их применение напоминает об использовании суперкомпьютера для того, чтобы играть в крестики-нолики, и поэтому часы возвышенного восприятия оказываются потерянными, если они не наполнены медитацией или спокойными размышлениями на любую тему.

Среди всех известных мне описаний больше всего такое созерцательное использование психоделиков напоминает Игру в Бисер, о которой говорится в одноименном произведении

Германа Гессе. В своем романе писатель изображает отдаленное будущее, в котором орден ученых-мистиков изобрел иероглифический язык, охватывающий все отрасли науки, искусства, философии и религии. Суть Игры в Бисер в том, чтобы обнаруживать связи между конфигурациями в различных областях знаний подобно тому, как музыкант находит новые гармонические и контрапунктные сочетания звуков. Из таких элементов, как устройство китайского дома, соната Скарлатти, топологическая формула и стих из Упанишад, играющие выделяют общую тему и изобретают ее приложения в других направлениях. Две игры не могут быть одинаковыми не только потому, что в них различаются элементы, но и потому, что у играющих нет стремления навязать миру единообразный статический порядок. Универсальный язык благоприятствует прослеживанию взаимосвязей, однако не фиксирует их, так как в его основе лежит “музыкальное” понимание мира, в котором порядок динамичен и изменчив, как мелодия в фуге.

Подобно этому в моих экспериментах с ЛСД и псилоцибином я обычно сосредоточивал внимание на такой теме, как полярность, трансформация (например, пищи в живой организм), борьба за выживание, связь между абстрактным и конкретным или между Логосом и Эросом. Затем я позволял своему углубленному восприятию постигать подобные отношения с помощью произведений искусства и музыки, с помощью таких естественных объектов, как папоротник, цветок, морская ракушка, религиозный или мифологический архетип (это могла быть Месса), или же с помощью личного контакта с теми, кто оказывался рядом со мной. Кроме того, иногда я концентрировался на одном из органов чувств и как бы пытался обратить его на себя, чтобы увидеть процесс видения, а от этого переходил к попыткам понять понимание или искал ответ на вопрос “Кто я?”.

Подобные исследования приводят к интуитивным проблескам необычайной яркости, и поскольку по окончании действия психоделика перечислить их не составляет труда (особенно, если они записаны на пленку или на бумагу), следующие за экспериментом дни и недели можно использовать для того, чтобы проверять их с логической, эстетической, философской и научной точек зрения на обычных ситуациях. Как и следовало ожидать, одни из них оказываются важными, тогда как другие нет. То же можно сказать и о внезапных находках, которые изобретатель или человек искусства делает в обычном состоянии сознания; они не всегда столь же подлинны и универсально применимы, как кажутся в момент озарения. Создается впечатление, что психоделики дают сильный толчок творческой интуиции и поэтому обладают не менее ценными достоинствами в сфере изобретения и научных исследований, нежели в психотерапии — если последнюю понимать в обычном смысле как средство “приспособления” ущербной личности к жизни в нашем обществе. Лучшая сфера их использования — не клиника для душевнобольных, а студия, лаборатория или институт глубинных исследований.

Ниже я не пытаюсь сделать научный доклад о воздействии психоделиков, указывая дозировку, время и место приема, физические симптомы и тому подобные сведения. Имеются тысячи подобных отчетов, но мне кажется, что, в виду нашего весьма поверхностного знания мозга, они имеют довольно ограниченную область применения. С таким же успехом можно попытаться понять книгу, растворив ее в кислоте и проанализировав химические свойства полученного раствора.

Я ставил своей целью создать общее впечатление о новом мире сознания, который открывают перед нами эти вещества. — не верю, что этот мир является галлюцинацией или же беспрецедентным откровением истины. Возможно, когда в мозгу и органах чувств прекращаются процессы подавления, мы видим мир именно таким, каким он предстает перед нами под воздействием психоделиков. Поскольку мы не привыкли к такому видению мира, мы склонны неправильно его интерпретировать. Наши первые оценки могут быть столь же

далекими от истины, как и впечатления путешественника по незнакомой стране или астронома, который впервые направил свой телескоп на галактики за пределами нашей.

Я написал это эссе так, будто переживание произошло в один день и в одном месте, однако фактически это сводный обзор нескольких переживаний. За исключением тех мест, где я описываю видения при закрытых глазах, — это всегда оговорено в тексте — ни одно из моих переживаний нельзя назвать галлюцинацией. Они являются принципиально иными способами видения, интерпретации и построением взаимоотношений с людьми и событиями в мире “общественной реальности”, которым для нужд моего описания было выбрано сельское частное имение на Западном побережье Соединенных Штатов с садом, клумбами, служебными постройками во дворе и далекими горами — все в нем было таким, каким я его здесь описал, включая старый грузовичок с мусором в кузове.

Вещества, изменяющие сознание, в народе ассоциируются с необычными фантазмагорическими видениями, но у меня таковые наблюдались только при закрытых глазах. Между тем я должен признать, что в остальных случаях естественный мир наполнялся невиданным величием, становился столь красочным, важным, а иногда и смешным, что мне трудно найти подходящие слова для выражения этих качеств. Скорость мышления и ассоциаций увеличивалась столь значительно, что словам было трудно поспевать за потоком идей, приходящих на ум. Отрывки, которые могут показаться читателю обычными философскими рассуждениями, являются описаниями того, что тогда было в высшей степени несомненной реальностью. Об образах, появляющихся перед закрытыми глазами, можно сказать также, что это были не просто порождения воображения, а структуры и видения, столь яркие и независимые, что их физическое присутствие казалось несомненным. Однако эти видения показались мне менее интересными, нежели необычные ракурсы естественного мира и необычайная скорость ассоциативного мышления. Именно об этих явлениях в первую очередь и пойдет речь в эссе, которое я предлагаю вашему вниманию.

1970

Начать с того, что в этом мире совсем не такое время. Здесь это время биологического ритма, а не часов и всего того, что идет вместе с часами. Никакой спешки. Наше чувство времени в высшей степени субъективно и тем самым зависит от качества нашего внимания, от нашего интереса или равнодушия, а также от следования шаблонам, целям и ограничениям. Здесь же настоящее самодостаточно, хотя это и не статическое настоящее. Это танцующее настоящее — развитие структуры, которая не имеет конечной цели в будущем, а сама является своим смыслом. Она нарастает и убывает одновременно, и семечко в ней является в той же мере целью, что и цветок. Поэтому у наблюдателя хватает времени, чтобы рассмотреть каждый аспект движения с бесконечным разнообразием выразительных деталей. Обычно мы не столько смотрим на вещи, сколько упускаем их из виду. Глаза видят типы и классы: цветок, лист, камень, птицу, огонь — то есть не сами вещи, а их ментальные образы — грубые очертания, которые всегда окрашены в блеклые тона и кажутся тусклыми, запылившимися.

Однако здесь видение глубины света и структуры распускающейся почки длится нескончаемо долго. Здесь достаточно времени, чтобы увидеть все — чтобы охватить сознанием изошренный узор жилок и капилляров, чтобы проникать все глубже и глубже в фактуру зеленого цвета, который в действительности совсем не зеленый, а охватывает целый спектр оттенков, дающих вместе зеленый: это и пурпурный, и золотистый, и ярко отсвечивающий изумруд, и солнечно-бирюзовый океан. — не могу сказать, где заканчивается форма и начинается цвет. Почка раскрывается и молодые листья появляются из нее с жестом, который крайне красноречив, но не говорит ничего, кроме “Так!” И почему-то этого оказывается вполне достаточно, чтобы все было яснее ясного. Смысл прозрачен так же, как прозрачны цвет и фактура — не столько для света, падающего на поверхность сверху, сколько для света, присутствующего внутри самого цвета и фактуры. Там он, разумеется, и пребывает, ибо свет — это неразделимая тройственность солнца, объекта и глаза, а химия цветка и есть его цвет, его свет.

Но в то же время цвет и свет являются дарами глаза листку и солнцу. Прозрачность — это свойство глазного яблока, спроецированное во внешний мир как прозрачность пространства; это интерпретация кванта энергии в терминах студенистых волокон мозга. — начинаю чувствовать, что мир одновременно внутри моей головы и вне нее, и эти двое, внутреннее и внешнее, включают или “охватывают” друг друга, как бесконечное число концентрических сфер. — необычайно ясно осознаю, что все ощущаемое мною является также моим телом — что свет, цвет, форма, звук и фактура представляют собой термины и свойства мозга, дарованные внешнему миру. — не смотрю на мир, я не встречаюсь с ним; я знаю его посредством постоянного преобразования его в себя, так что все вокруг меня, весь объем пространства, не ощущается мною где-то там, а присутствует внутри меня.

Поначалу это непривычно. — не знаю точно, откуда приходят ко мне звуки. Видимое пространство, кажется, звучит ими, как барабан. Окружающие холмы откликаются звуками проехавшего грузовика; при этом звучание и цветные очертания холмов становятся одним действием. — использую это слово не случайно и вскоре прибегну к нему снова. Холмы движутся в своей тишине. Они значат что-то, потому что они преобразены моим мозгом, а мозг — это орган смысла. Роща мамонтовых деревьев на склонах холмов выглядит как зеленый огонь, медно-золотистая выжженная солнцем трава вздымается до самого неба. Время так замедлилось, что, кажется, превратилось в вечность, и этот привкус вечности передается холмам — блестящим горам, которые, сдается мне, я помню с незапамятного прошлого. Они столь

незнакомы мне, что выглядят загадочными, но в то же время не менее привычны, чем моя собственная рука. Таким образом, преобразенный в сознание, во внутреннее электрическое свечение нервов, мир кажется загадочно призрачным, словно проявленным на цветной пленке, словно звучащим на коже барабана, словно наплывающим на меня — но не весом, а вибрациями, понимаемыми как вес. Твердость — это неврологическое изобретение, и я задаюсь вопросом, могут ли нервы быть твердыми для самих себя. Где мы начинаемся? Структура ли мозга создает структуру мира, или же мир порождает структуру мозга? Мир и мозг напоминают курицу и яйцо, перед и зад.

Физический мир — это вибрации, кванты, но вибрации чего? Для глаза это вибрации формы и цвета, для уха — звука, для носа — запаха, для пальцев — прикосновения. Однако все это различные языки для выражения одного и того же, различные качества чувствительности, различные измерения сознания. Кажется, что вопрос “Различными формами чего они являются?” не имеет смысла. Что есть свет для глаз, то есть звук для ушей. У меня возникает образ ощущений как полюсов, граней и измерений не одного и того же предмета, а друг друга; они замкнуты в кольцо взаимности. При пристальном рассмотрении форма становится цветом, который становится вибрацией, которая становится звуком, который становится запахом, а затем вкусом, прикосновением и снова формой. (Легко видеть, например, что форма листа есть его цвет. Вокруг листа нет пунктирного очертания; очертание — это грань, где поверхность одного цвета переходит в другую.) — вижу все эти чувственные измерения как круговой танец, как действия одной структуры, переходящие в действия другой. И эти действия парят в пространстве, у которого есть также другие измерения, которые мне хочется описать как оттенки эмоционального цвета, света или звука, — радостных или пугающих, восторженного золота или подавленного свинца. Они тоже образуют цепь соответствий, круговой спектр, поляризованный таким образом, что одно мы можем описать лишь в терминах другого.

Иногда образ физического мира — это не столько танец жестов, сколько хитросплетение фактур. Свет, звук, прикосновение, вкус и запах становятся основой ткани, и возникает чувство, что все измерения ощущений представляют собой единый континуум или поле. Пересекает основу ткани уток^[5], представляющий измерение смысла — моральных и эстетических ценностей, личных и общественных предпочтений, логического значения и экспрессивной формы. Эти два измерения пронизывают друг друга так, что различающиеся формы кажутся рябью на поверхности единого потока восприятия. Основа и уток текут вместе, поскольку ткань не одномерна и статична, а является многомерным хитросплетением импульсов, заполняющих собой всю емкость пространства. — чувствую, что мир пребывает на чем-то, на плотном потоке энергии — во многом подобно тому, как цветная фотография находится на пленке, которая соединяет разноцветные пятна. Но сразу же после этого я вижу, что мир пребывает на моем мозге — на “том волшебном инструменте”, как его назвал Шеррингтон. Мозг и мир, основа ощущений и уток смысла, кажется, нерасторжимо пронизывают друг друга. Они имеют общие границы и очертания и тем самым не только определяют друг друга, но и становятся отдельно немислимыми.

* * *

Я слушаю органную музыку. Подобно тому, как создается впечатление, что листья жестикулируют, мне кажется, что орган буквально говорит. Этот голос звучит без пауз, но каждый звук, сдается мне, порожден человеческим горлом, увлажненным слюной. Когда органист, играя на педали, движется вниз по звуковой гамме, мне кажется, что звуки

раздуваются в величественные, тягучие звуковые кляксы. Когда я прислушиваюсь внимательнее, эти кляксы приобретают фактуру — становятся похожими на расходящиеся круги вибраций и напоминают чем-то ровные густые гребни, больше уже не увлажненные, как живое горло, а механически разрывные. Звук распадается на бесчисленные индивидуальные ддрриты вибраций. — слушаю дальше, и фактура снова исчезает, или, быть может, это каждая отдельная ддррита становится в свою очередь кляксой. Водянистое и жесткое, протяженность и разрывность, липкое и колкое — эти противоположности становятся проявлениями друг друга, разными уровнями выражения одного и того же.

Эта тема повторяется сотней разных способов — неразделимая полярность противоположностей, взаимность и соответствие всех возможных проявлений сознания. Теоретически легко видеть, что все ощущения построены на контрасте — фигуры и фона, света и тени, ясного и смутного, твердого и мягкого. Однако нормальное внимание, кажется, встречает трудности с тем, чтобы вместить одновременно и то и другое. И в ощущениях, и в мыслях мы чаще всего переходим поочередно от одного к другому; может показаться, что мы не можем сосредоточить внимание на фигуре, не переставая при этом осознавать фон. Однако в этом новом мире взаимодополняемость вещей становится очевидной на всех уровнях. Лицо человека, например, становится очевидным во всех своих аспектах — это целостная картина, включающая в себя все волоски и морщинки. Лицо становится одновременно всех возрастов, поскольку все то, что говорит о старости, одновременно свидетельствует и о молодости; в костях черепа сразу же угадывается новорожденный младенец. Ассоциации, порождаемые нашим мозгом, кажется, возникают не последовательно, а все вместе. При этом у нас может создаваться впечатление, что жизнь пугает своей многозначностью или же радуется своей целостностью.

Принятие решений может оказаться полностью парализованным внезапным осознанием, что нельзя иметь хорошее без плохого, или же что невозможно последовать чужому совету, не решившись вначале сделать это. Если здравомыслие подразумевает безрассудство, а вера — сомнение, не являюсь ли я на самом деле сумасшедшим, который прикинулся душевно здоровым, пугливым дурачком, которому все же кое-как удастся имитировать самоконтроль? — начинаю видеть свою жизнь как шедевр двойственности — смущенный, беспомощный, голодный и болезненно чувствительный маленький эмбрион глубоко внутри меня постепенно научился соглашаться, заверять, стращать, ублажать, льстить, брать на пушку и обманывать с тем, чтобы его принимали за компетентную и заслуживающую доверия личность. Но ведь, если разобраться, что каждый из нас знает?

* * *

Я слушаю, как священник солирует в Мессе в сопровождении хора монахинь. В звучании его зрелого, поставленного голоса чувствуется незыблемый авторитет единой святой католической и апостольской Церкви, великой веры, данной раз и навсегда святым — и ему вторит несколько простодушное, невинно преданное пение монахинь. Однако, прислушиваясь к пению дальше, я понимаю, что священник “напускает на себя вид”, я слышу, как он раздувает, словно воздушный шарик, свой высокомерный голос. Мне кажется, что это вкрадчивый голос опытного обманщика, запугавшего бедных монахинь, которые на хорах стоят на коленях. Слушай глубже! Монахини совсем не запуганы. Они только прикидываются наивными. Немного смести угол зрения, и вялый поклон превратится в сжатие клешни. Здесь очень мало мужчин, и монахини знают, что делают. Они знают, как нужно поклониться, чтобы выжить.

Однако это циничное видение положения вещей — всего лишь промежуточная стадия. Мне

хочется выразить свое восхищение священнику за его притворство, за его умение создать видимость авторитетности, тогда как в действительности он ничего не знает так же, как и я. Возможно, не существует другого знания, кроме решимости действовать. Если в глубине нашего естества нет подлинного “я”, верным которому нужно оставаться, искренность — это всегда маска; за нею стоит решительное и беззастенчивое стремление притворяться.

Однако притворство является притворством только в том случае, когда считается, что поступок не соответствует подлинному намерению действующего. Найди действующего! Глубоко в голосе священника я слышу рычание первобытного зверя в джунглях, однако это рычание подавлено, усложнено, утончено и преображено тысячелетиями культурной жизни. Каждое новое искажение, каждая дополнительная тонкость были новыми ставками в игре, смысл которой в том, чтобы сделать первобытное рычание более впечатляющим. Но это тот же самый грубый и неприкрытый вой самца в поисках пищи или самки, или же рык удовлетворения, от которого сотрясаются горы. Затем это рычание приобретает ритм, чтобы очаровывать, затем оно меняет тон, чтобы умолять или угрожать. Затем появляются слова, чтобы сообщить о нужде, обещании, сделке. И только потом, намного позже, начинаются притворные игры. Здесь и женская стратегия побеждать, уступая; и притязание на высшую добродетель, основанное на отречении от мира во имя духа; и уловка слабости, на поверку оказывающейся сильнее мощи мышц; и блаженство кротких, которые унаследуют землю.

Я слушаю дальше и теперь слышу, как в одном этом голосе одновременно говорят все уровни человеческой истории, а также все стадии эволюции человека. Каждая стадия становится такой же явной, как одно из годичных колец на поперечном срезе дерева. Однако все это — лишь иерархия уловок, стратегии венчающие стратегии, но под всеми наслоениями утонченности все еще звучит первобытное рычание. Иногда это рычание из брачного воя взрослого животного становится беспомощным плачем младенца, и тогда я чувствую человеческую музыку — со всей ее пышностью и изощренностью, с ее радостью, ужасом и самодовольной торжественностью — как чрезвычайно усложненный и подавленный плач ребенка по матери. Но когда мне хочется заплакать от жалости, я понимаю, что жалко мне самого себя. Я, взрослый человек, тоже вою во тьме подобно тому, как первобытное рычание все еще звучит под утонченными модуляциями церковного пения.

Ты бедный ребенок! Но в то же время ты маленький корыстный шельмец! Когда я пытаюсь найти действующего за действием, мотивацию в основе всего, мне кажется, что я вижу только бесконечную двойственность. Под маской любви я нахожу прирожденный эгоизм. В какое интересное положение я попадаю, когда кто-то спрашивает: “Действительно ли ты любишь меня?” — не могу сказать “да”, не подразумевая “нет”, поскольку единственным удовлетворительным ответом может быть: “Да, я люблю тебя так, что могу съесть тебя! Моя любовь к тебе неотделима от моей любви к себе. Моя любовь к тебе — чистейший эгоизм”. Никто не хочет, чтобы его любили из чувства долга.

Поэтому я буду откровенным. “Да, я — чистое эгоистическое желание, и я люблю тебя, потому что мне приятно быть вместе с тобой — по крайней мере сейчас”. Однако затем я начинаю недоумевать, не закралась ли в мою откровенность какая-то хитрость. Хорошо мне быть искренним, играть перед ней роль человека, который не притворяется, — в отличие от других парней, которые убеждают ее, что любят ее для нее самой. — вижу, что в стремлении быть искренним всегда присутствует какая-то неискренность, будто я открыто заявляю: “Это мое утверждение ложно”. В каждой моей попытке определить себя, быть полностью искренним всегда есть какая-то уловка. Затруднение в том, что я не могу видеть своей спины, не говоря уже о внутренностях своей головы. — не могу быть искренним, потому что не знаю полностью, кто я такой. Сознание возникает из центра, который я не могу видеть — вся сложность именно в

этом.

Создается впечатление, что жизнь может постичь себя вплоть до маленького зачатка, или источника чувствительности. — называю его Ини-Вини — извивающийся крохотный зародыш, который пытается совокупиться сам с собой, но все никак не может этого сделать. Все сказочное многообразие растительной и животной жизни, причуды человеческой цивилизации — это всего лишь грандиозная уловка Ини-Вини, стремящегося обладать Ини-Вини. — влюблен в самого себя, но не могу стремиться к себе, не скрываясь от самого себя. По мере того, как я преследую свой собственный хвост, он убегает от меня. Может быть, амeba для того и делится пополам, чтобы решить эту проблему?

Я пытаюсь уйти глубже, погружаясь мыслями и чувствами к их первоисточкам. Что я имею в виду, когда говорю, что люблю себя? Каким образом я знаю себя? Всегда в виде чего-то другого, чего-то незнакомого. Пейзаж, который я наблюдаю, является также частью меня самого, нейронов в моей голове. Камень у себя на ладони я чувствую в терминах собственных пальцев. И ничего не может быть таинственнее моего тела — ощущение пульса, вид через увеличительное стекло моего глаза, потрясение от мысли, что мое тело есть часть окружающего мира. В действительности же, нет возможности отделить себя от мира, любви к себе от любви к кому-то другому. Любое знание о себе является знанием о другом, а любое знание другого — знанием о себе. — начинаю видеть, что “я” и другой, знакомое и незнакомое, внутреннее и внешнее, предсказуемое и непредсказуемое — подразумевают друг друга. Одно является способом спрятаться, другое — способом найти, и чем больше я чувствую, что они подразумевают друг друга, тем больше я постигаю их единство. — становлюсь необычайно привязанным и искренне расположенным ко всему, что кажется мне чужим. В чертах того, что выглядит враждебно, пугающе, непонятно и отдаленно, я начинаю узнавать себя. Но речь здесь вовсе не об эмпирическом вчерашнем эго, не о показной личности, а о моем естестве, которое, кажется мне, я знаю с незапамятных времен.

“Я”, которое я начинаю узнавать, которое я забыл, однако знаю лучше, чем все остальное, уходит своими корнями далеко в детство, в те времена, когда взрослые еще не успели обмануть меня, заставив поверить, что я — это кто-то другой. Тогда они были больше и сильнее меня, и им ничего не стоило внушить мне свой воображаемый страх, сбить меня с толку и победить меня в сложной игре, тонкостей которой я еще не знал. (Невольно задумываешься об изуверстве учителя, объясняющего правила игры и тут же демонстрирующего свое превосходство в ней.) Задолго до этого всего, задолго до того, как я стал эмбрионом в утробе своей матери, — уже маячит этот слишком уж знакомый незнакомец: все, что не есть “я”. И с восторгом неизмеримо большим, нежели радость при встрече влюбленных, которых разделяли столетия, я узнаю его, свое изначальное “Я”. О добрая старая колдунья, которой удалось вовлечь меня в эту игру!

В то же время все и вся вокруг меня кажется таким, каким оно всегда было, затем было забыто, а затем открылось снова. Мы сидим в саду, окруженном со всех сторон невозделанными холмами, в саду фуксий и колибри, расположенном в долине, которая выходит к западному побережью великого океана и в которой во время шторма находят себе приют чайки. В один из дней в середине XX века мы сидим за столом на террасе, едим домашний хлеб и пьем белое вино. Но кажется, что мы были здесь вечно, потому что люди вокруг меня не похожи больше на банальные и настороженные маленькие личности с именами, адресами и номерами полисов социальной безопасности — на тех общественно признанных смертных, которыми мы привыкли себя считать. Эти люди, не теряя своей человечности, кажутся, скорее, бессмертными архетипами самих себя. Их непохожие друг на друга характеры напоминают голос священника; они охватывают всю историю. Эти люди одновременно уникальны и вечны, мужчины и женщины, но в то же время боги и богини. Ибо сейчас, когда у нас наконец-то достаточно

времени приглядеться друг к другу, мы становимся вневременными. Человеческий облик делается неизмеримо ценным, и как бы в подтверждение этого, глаза представляются разумными самоцветами, волосы — золотой канителью, тело — переливчатым янтарем. Между теми, кто вошел в этот мир вместе, возникает подлинно евхаристическая любовь — принятие друг друга от поверхностных проявлений до самых глубин нашего естества.

Элла, посадившая сад, — это милосердная Цирцея, волшебница, дочь Луны, покровительница кошек и змей, знаток трав и целебных снадобий. Ее старческое лицо с изысканными морщинами светится необычайной молодостью, а серебристо-черные волосы зыблются, подобно пламени. Роберт — олицетворение Пана, однако Пана-быка, а не Пана-козла; его короткие жесткие волосы взъерошены и среди них видны небольшие рожки. Сам же Роберт воплощает в себе бьющую через край энергию, его тело лоснится, мышцы излучают силу. Берилла, его жена, — это нимфа, вышедшая из лесной чащи, полевая русалка с вьющимися волосами и танцующим телом, которое кажется обнаженным, даже когда одето. Именно она испекла хлеб, который мы едим, и этот хлеб представляется нам Предвечным Хлебом, по сравнению с которым хлеб самой матери показался бы неудачной подделкой. И, кроме того, есть Мэри — возлюбленная в обычном грязном мире; однако в этом мире она стала воплощением света и золота, дочь солнца, глаза которой сотканы из вечернего неба. Это существо всех возрастов: младенец, малютка, девушка, мать семейства, старуха и безжизненное тело, излучающее непреходящую любовь.

Я пытаюсь найти слова, которые могли бы выразить ангельский, мифологический облик этих людей. Но в то же время эти люди столь близки мне, будто я знаком с ними в течение столетий, или, точнее, будто я только что узнал в них своих потерянных друзей, с которыми мы были вместе с самого начала времен в стране, существовавшей до появления миров. Это чувство, конечно, связано с осознанием мною моего собственного естества, которое бесконечно старше слепого извивающегося Ини-Вини — ведь высшая форма сознания может каким-то образом присутствовать у самого истока вещей. Все мы смотрим друг на друга с пониманием, поскольку чувство, что мы знали друг друга в самом отдаленном прошлом скрывает в себе что-то еще — подразумеваемое, вселяющее благоговейный ужас, почти невыразимое — а именно: постижение того, что в глубочайшем средоточии времени, которое открыто в направлении, перпендикулярном к нашему обычному времени, мы есть и всегда были одним. Мы вместе осознаем искусно скрытый замысел, королевскую иллюзию, благодаря которой мы можем казаться различными.

Потрясение постижения. В виде всего самого чужого, чуждого и удаленного — в виде вечно убегающих галактик, таинственной смерти, неизлечимых болезней и ужаса потери рассудка, во враждебном, гусино-кожном мире морских чудовищ и пауков, в тошнотворных лабиринтах моих внутренностей — во всем этом я незаметно подбираюсь к себе и пугаю себя: “Угу!” — запугиваю себя до потери соображения, а затем, все еще не придя в себя, не могу понять, как это могло случиться. Обычно меня окружает путаница. — не знаю, как в нее угодил, поскольку я потерял нить, которая меня сюда привела, забыл необычайно сложную цепочку ходов в давно начатой игре в прятки. (Или, быть может, это была последовательность стадий развития нейронов моего мозга?) Однако сейчас смысл путаницы полностью понятен. Она является средством для кого-то уйти от себя, чтобы показаться себе чужим, — причем этих уходов было так много, и они были столь головокружительно запутаны, что я оказался одураченным окончательно. Ключ к разгадке в том, что все противоположности и двойственности — не разделены, а полярны; они не противостоят друг другу издалека; они проистекают из одного центра. Обычное мышление не выявляет эту полярность и относительность, потому что оно пользуется терминами, терминалами, или оконечностями, полюсами, не принимая во внимание

то, что находится между ними. Различие между передом и задом, между бытием и не-бытием, скрывает их единство и взаимодополняемость.

Итак, сознание, чувственное восприятие, — это всегда ощущение контраста. Это искусственное подчеркивание различий и особенностей, тогда как, в действительности, ничто не определимо, не классифицируемо, не отделимо от всего остального без сопоставления с чем-то другим. Однако человек живет не одним лишь сознанием, поскольку линейная, последовательная, построенная на контрастах процедура рассмотрения в сознательном внимании плохо справляется с управлением столь сложным объектом, как живое тело. Само тело обладает бессознательным — или, лучше сказать, сверхсознательным — “всеведением” именно потому, что оно участвует в отношениях, а не противопоставлениях, в гармонии, а не в диссонансе. Оно “думает”, или контролирует себя, так, как растение растет, а не так, как ботаник описывает его рост. Вот почему у Шивы десять рук — ведь он представляет танец существования, всемогущество жизни, способной делать много чего сразу.

* * *

Создается впечатление, что в ходе переживания, которое я описываю, сверхсознательное мышление становится сознательным. Мы видим мир, каким видит его наше тело, и по этой причине встречаемся с величайшими трудностями при попытках выразить такого рода переживания с помощью языка, основанного на контрасте и классификации. В той мере, в которой человек стал существом, живущим в своем сознательном внимании, он стал жить среди противоречий, конфликтов и сумятицы. Невероятное совершенство человеческого организма в целом представляется ему недостойным внимания, и именно поэтому у большинства людей наблюдается явное рассогласование между необычайно разумной организацией их тел и тривиальными играми, происходящими у них в сознании. Однако в этом мире ситуация противоположная. Обычные люди здесь кажутся богами, потому что в этом мире главенствуют достоинства их целостного естества; заботы же сознательного внимания отступают на второй план, где им и надлежит быть. Поэтому размежевание и вражда уступают здесь место любви, единству, гармонии и взаимности.

Ведь наше сознание упускает из виду, что все поверхности и разграничения принадлежат противоположным сторонам и областям в равной мере, так что, когда граница изменяет свои очертания, движутся обе стороны вместе. Это напоминает китайский символ инь-ян — черную и белую рыбок, разделенных внутри круга S-образной кривой. Выпуклая головка одной из них является сужающимся хвостиком другой. Однако несколько неочевиднее то, что очертания и движения моей кожи принадлежат мне и окружающему миру в равной мере, и что сферы влияния различных людей имеют множество стен наподобие перегородок между комнатами, и поэтому любое движение моей стены — это также и движение твоей! В своей комнате ты можешь делать все, что хочешь, до тех пор, пока я могу делать все, что хочу, в своей. Однако комната каждого человека — это он сам в своем самом полном виде, так что мое расширение является твоим сжатием, и наоборот.

* * *

Смотрю на то, что обычно называют беспорядочными кустами, — на заросли кустарника и травянистых растений, в которых ветки и листья переплелись самым беспорядочным образом.

Однако сейчас, когда главенствует организующий, полярный ум, я вижу, что беспорядочными являются не кусты, а мои неуклюжие мысли о них. В действительности же, каждая веточка находится на своем месте, а все хитросплетение становится более изысканной арабеской, нежели узоры на полях кельтских манускриптов. В таком же состоянии сознания я однажды видел осенний лес. Множество безлистных веточек переплелось на фоне неба, но это был не хаос, а изощренное кружево, ажурное украшение ювелира-волшебника. Трухлое бревно, поросшее грибами и мхом, предстало предо мной, словно неповторимый шедевр Челлини — изнутри подсвеченное изваяние из черного и желтого янтаря, из нефрита и слоновой кости, тогда как все пористые и губчатые части распадающейся древесины, казалось, высечены с бесконечным терпением и мастерством. — не знаю, действительно ли мир организован подобным образом, или же он лишь представляется нам в такие минуты в терминах нашего тела.

Путешествие в мир нового восприятия рождает удивительно возвышенное отношение к структурам в природе, открывает неведомое ранее очарование листа папоротника, растущего кристалла или узоров на морской ракушке, неопикуемых самоцветов радиолярий и других одноклеточных существ, сказочное устройство семян и стручков, инженерные изобретения костей и скелетов, аэродинамику перьев и удивительно красочные рисунки глаз на крыльях бабочек и птиц. Вся эта утонченность организации может, с одной точки зрения, считаться абсолютно необходимой для целей воспроизведения и выживания. Однако, когда мы приглядываемся к этим существам, их выживание оказывается самим их существованием — а оно-то для чего необходимо?

У нас создается все более и более сильное впечатление, что проявления порядка в природе — это произведения искусства сродни музыкальным: фуги в раковинах и хрящах, контрапункт в волокнах и капиллярах, пульсирующий ритм в волнах звука, света и в нервах. Причем человек сплетен с этим всем так, что отделить его невозможно — узлы, ганглии, хитросплетения электронных цепей и импульсов работают непрерывно и простираются через все пространство-время. Вся эта сложнейшая структура несетя вихрем, как дым в солнечном луче или как дрожащий рисунок ряби на поверхности мелкого ручейка. Бесконечно преображаясь в себя, остается одна лишь структура. Пересечения, средоточия, сочленения и причудливые завитки постоянно преображаются друг в друга. “Видения сего беспочвенная ткань” (Шекспир, “Буря”). Видение покоится на самом себе. Когда почва растворяется подо мной, я начинаю парить.

Фантазии, посещающие меня в этом мире при закрытых глазах, чаще всего кажутся откровением тайных возможностей мозга, ассоциативных и структурирующих процессов, упорядочивающих систем, лежащих в основе наших чувств и мышления. В отличие от фантазии, которую я только что описал, они по большей части являются еще более сложными вариациями на ту же тему: рисунок папоротника, продолжающийся рисунком папоротника, продолжающийся рисунком папоротника в бесконечномерном пространстве; или огромные калейдоскопические купола из цветного стекла и мозаики; или структуры наподобие лабораторных моделей очень сложных молекул — системы разноцветных шаров, каждый из которых оказывается совокупностью меньших шаров, и так до бесконечности. Может, таково внутреннее устройство организующего процесса, которому, при открытых глазах, удастся осмыслить мир даже в самых запутанных его проявлениях?

Позже в этот день Роберт ведет нас в свою мастерскую, в которой он накануне делал уборку и вот теперь свалил ненужные вещи и мусор на большой старый “Бьюик” с открывающимся верхом. При виде этого мусора у меня возникает два глобальных вопроса человеческой жизни: “Куда мы это денем?” и “Кто будет это убирать?”. С одной точки зрения, живые существа — это просто трубки, заглатывающие с одной стороны и выделяющие с другой до тех пор, пока трубка не износится. Проблема всегда в том, куда девать то, что появилось на другом конце трубки, —

особенно если его собралось так много, что трубки подвергаются опасности не уместиться на планете, заваленной их собственными отходами. К тому же, ситуация имеет метафизический оттенок. Вопрос “Куда мы это денем?” устремляется к фундаментальному основанию, на котором все покоится, — к Первопричине, Божественному Источнику, основанию морали, движущей силе действия. Спрашивая же “Кто будет это убирать?”, мы хотим узнать, на ком, в конце концов, лежит ответственность за это все, и как решить наши вечно умножающиеся проблемы, не передавая их будущим поколениям.

Я лицезрею тайну мусора в ее непосредственном проявлении. Робертова машина загружена доверху, и только сидение шофера остается незанятым рядом с разломанными дверными рамами, ржавыми плитами, обрывками колючей проволоки, раздавленными консервными банками, остатками древних фисгармоний, безмянными чудовищами из обломков пластика, куклами без голов, велосипедами без колес, разорванными подушками с торчащей из них ватой, бутылками нестандартных размеров, грудастыми манекенами портного, ромбовидными рамками, развороченными клетками для птиц, невообразимыми массами проволоки и старой электропроводки, грудями апельсиновых корок, яичной скорлупы, картофельной шелухи и электрических лампочек — и все это припорошено мерзко-белым порошкообразным химикатом, который мы называем “ангельским дерьмом”. На следующий день мы с почетным эскортом препроводим этот мусор на местную свалку. А что потом? Можно ли вообразить себе переплавку или огонь, который избавит нас от этих вечно растущих гор отбросов — особенно если учесть, что наши постройки и изделия все больше напоминают мусор еще до того, как мы их приобрели? Кажется, не существует другого ответа, кроме предложенного Робертом. И все же, вид его машины повергает в отчаяние.

Божественная комедия. Смех побеждает все. И для Роберта эта исполинская куча удивительно нелепых вещей — всего лишь несравненное творение, шедевр бессмыслицы. Он свалил все это в кузов и привязал веревками к раздавшимся низким бортам когда-то великолепного автомобиля, а затем отошел в сторону, чтобы полюбоваться, словно это выставочный экспонат. Табличка внизу: “Американский образ жизни”. Между тем наш смех беззлобный, ибо в этом состоянии сознания любой поступок есть действие божества. Высшее достижение нашей цивилизации — монументальные кучи мусора — кажется не бессмысленным безобразием, а карикатурой на себя, подобно тому как преднамеренное создание феноменально абсурдных коллажей и абстрактных скульптур является всего лишь добродушной пародией на наши собственные притязания. Ведь в этом мире ничто не является ошибкой, ничто даже не является глупостью. Чувство ошибочности свидетельствует о неспособности видеть нечто как часть большой структуры, о неведении в отношении уровня иерархии, на котором происходит событие. Действие, выглядящее неуместным на уровне 28, может оказаться совершенно закономерным на уровне 96. — говорю об уровнях и градациях в хитросплетении изгибов и поворотов, действий и противодействий, составляющих ход и развитие нашей жизни, — о стадиях космологической игры в кто-кого-перещеголяет, которую постоянно затевают инь и ян, темное и светлое начала. На ранних стадиях эта игра кажется серьезным противостоянием добра и зла. И если недалекий человек относится к игре всерьез, его следует уважать за глубину его вовлеченности, за решимость зайти так далеко, чтобы не знать, откуда он вышел.

Чем более прозаичным, чем более скучным и повседневным представляется нам все и вся, тем более я поражаюсь ловкости, с которой божество прячется, чтобы потом искать себя, а также размаху и изощренности космического танца энергий. — думаю о бензозаправочной станции на углу квартала. Пыль и выхлопные газы, один и тот же стандартный парень с рекламой компании “Standard” на бейсбольной куртке, без энтузиазма пестрящиеся рекламные щиты, вся эта приевшаяся банальность — и никого вокруг, кроме нас, обычных людей! — знаю,

как люди всего лишь притворяются, что не видят себя аватарами Брахмы, Вишну и Шивы. Они изображают, что забыли непревзойденную мудрость миллиона клеток своего тела, и делают вид, что пыль не похожа на россыпи самоцветов. Как великолепно они будут имитировать непонимание, когда я подойду к ним и скажу: “Ну ладно, кого ты пытаешься разыграть? Брось, Шива, старый плут! Это великая игра, но меня-то ты не проведешь!” Однако сознательное это не знает, что оно является всего лишь уловкой нашего тела, этого божественного органа^[6]. Когда, в поисках выхода из темноты, люди приходят к гуру, мастеру мудрости, он лишь высмеивает их притворство до тех пор, пока они не откажутся от него. Он не говорит им ничего, но огонек в его глазах взывает к бессознательному — “Ты знаешь... Ты знаешь!”

В построенном на контрастах мире обычного сознания человек отождествляет себя с волей и чувствует себя существом живущим в мире, но миру не принадлежащим. Мир ему либо нравится, либо не нравится. Он либо принимает мир, либо отвергает его. Он помывает миром или же мир помывает им. Однако в фундаментальном сверхсознании целостного организма таких крайностей не существует. Организм и окружающий его мир представляют собой одну целостную структуру действия, в которой нет ни субъекта, ни объекта; ни того, кто действует, ни того, кто подвергается воздействию. На этом уровне нет разделения между болью, с одной стороны, и мною, страдающим от боли, с другой. Боль и реакция на боль здесь одно и то же. Когда это осознано, вначале создается ощущение, что все случается по моей собственной воле. Однако это ощущение является предварительным и неуклюжим способом постижения, что происходящее вне моего тела образует один процесс с происходящим внутри него. Это и есть постижение “изначального облика”, который так искусно сокрыт нашим повседневным языком и традиционными представлениями.

Активное и пассивное — две фазы одного действия. Семечко чертополоха, окруженное облачком белого пуха медленно плывет по воздуху и грустно вздыхает, услышав звук реактивного самолета, невидимого в вышине. — ловлю его за одну из пушистых ниточек и, зажав между большим и указательным пальцами, удивляюсь тому, что это крохотное существо, извиваясь, рвется из моих рук, словно пытается вырваться на свободу. Здравый смысл говорит мне, что пух движется под действием ветра, а не семечка. Однако после этого я понимаю, что в обладании нежным парашютом, который на ветру приходит в движение, проявляется не что иное как “разум” семечка. Обладая таким придатком, семечко может передвигаться с помощью ветра. И вообще, есть ли существенная разница между тем, чтобы поднять парус, и тем, чтобы взяться за весло? Ведь, если разобраться, путешествие под парусом — более разумный способ приложения усилий. Верно, что семечко сознательно не намеревается передвигаться с помощью ветра, но я ведь тоже сознательно не намеревался обладать руками и ногами!

Именно это глубокое постижение взаимодополняемости меня и мира, активного и пассивного, внешнего и внутреннего, “я” и не-“я” приводит нас к тому аспекту этих переживаний, который больше всего озадачивает наш здравый смысл, — к странной и на первый взгляд кощунственной убежденности, что “Я” есть Бог. В западной культуре это ощущение является несомненным признаком слабости рассудка. Однако в Индии считается само собой разумеющимся, что глубочайшее естество человека, Атман, является глубочайшим естеством вселенной, Брахманом. А почему бы и нет? Очевидно, что такое видение мира более целостно, более благородно, более здраво, чем представление о том, что между Первопричиной и ее следствиями зияет непреодолимая пропасть. Понятно, что “Я”, которое есть Бог, не может быть тем эго, сознательным “я”, которое не осознает, что его внешние очертания являются внутренними очертаниями остального мира. Однако, пребывая в этом более широком, более всевидящем сознании, я не могу не понимать, что все, что я считаю доступным своей воле и желаниям, имеет точку соприкосновения с тем, что я рассматриваю как не имеющие ко мне

отношения. Пределы доступного моей воле, форма и контуры действий, которые я почитаю своими, — все это идентично и смежно с очертаниями событий, которые меня научили считать чужими и посторонними.

Чувство “я” больше не сосредоточено внутри кожи. В противоположность этому, я как индивидуальное существо, кажется, вырастаю из остальной вселенной, подобно волоску на голове или оконечности моего тела, так что мой центр — это также центр всего остального. — обнаруживаю, что в обычном сознании я по привычке пытаюсь оторвать себя от всей целостности, что я постоянно занимаю по отношению к ней оборонительную позицию. Но что я пытаюсь защищать? Только изредка мои защитные реакции направлены на то, чтобы предотвратить физическую опасность или увечье. По большей же части я защищаю свою защиту — оборонительные рубежи вокруг оборонительных рубежей вокруг пустоты. Воины внутри крепости, воины внутри оборонительных рубежей, воины на радиостанции. Война во внешнем мире — это лишь пародия войны эго против мира: в безопасности могут себя чувствовать одни лишь воины. В следующей войне только пилоты бомбардировщиков проживут дольше, чем женщины и дети.

Я прослеживаю в обратном направлении лабиринты своего мозга, вновь прохожу по бесчисленным закоулкам, где я когда-то, описав множество кругов, в конце концов заблудился и потерял ту первобытную тропинку, по которой вошел в этот лес. Обрато через туннели прошлого — через запутанные стратегии выживания и самоутверждения во взрослой жизни, через бесконечные подземелья наших снов — мы должны пройти по всем тем улицам, по которым ходили раньше, по коридорам наших школ, по вьющимся путям, пролегающим между ножками столов и стульев, под которыми мы ползали в детстве; через тесные кровавые врата мы должны выйти из материнского лона, пронестись в стремительном порыве по каналу пениса и вернуться в эпоху вневременных блужданий по капиллярам и губчатым полостям. (Вот где, оказывается, живут неорганические существа Кастанеды! — Реплика переводчика, подлежит удалению.) Обрато в прошлое, глубже и глубже в сужающиеся проходы к тому месту, где сам проход является странником — к тоненькой веренице молекул, постоянно пытающихся методом проб и ошибок выстроиться в нужном порядке, чтобы стать центром органической жизни. Все дальше и дальше назад, через вечное кружение в танце на поистине астрономических просторах вокруг ядерных зародышей мира, вокруг этих средоточий бытия, пребывающих столь же глубоко у истоков материи, сколь далеки от нас в космосе другие галактики.

Все глубже и глубже, но внезапно на свободу — на свободу из этих космических лабиринтов, на свободу, чтобы осознать, что я, ослепленный путешественник, в глубине своей тождественен забытому, но столь знакомому, вызывающему к жизни целый мир, изначальному импульсу, высшему единству, сокровенному свету, естеству, которое есть в большей мере мое “я”, нежели я сам. Стоя в саду Эллы, я пребываю в глубочайшей безмятежности, передающейся всему миру, и чувствую, что наконец-то я прибыл, наконец-то я вернулся в свой подлинный дом. — знаю, что, сам того не подозревая, унаследовал сокровище, завещанное мне предками в самом начале времен. Основа и уток этого мира звучат эхом торжественных гимнов, подобно струнам арфы. Незыблемое основание, в котором я желал утвердиться, оказалось центром, направляющим мои поиски. Неуловимая субстанция, из которой соткана вселенная, теперь обнаруживается в каждом движении моей руки. Как мне вообще удалось потеряться? Зачем мне понадобилось так долго путешествовать по запутанным туннелям, чтобы стать трепещущим сгустком защищающейся защиты — своим повседневным “я”?

Войдя в дом, я обнаруживаю, что вся комнатная мебель жива. Все вокруг подает мне знаки. Столы столются, посуда посудится, стены стенятся, арматура арматурится — все это события, а не вещи. Роберт включает магнитофон, не сказав мне, что должно зазвучать. Внимательно глядя на картинящуюся картину, я постепенно начинаю осознавать музыку и поначалу не могу понять, звучит ли это музыкальный инструмент или же человеческий голос. Есть только один вьющийся, переливающийся и тянущийся небольшими сгустками поток звука, который оказывается в конце концов звучанием духового инструмента, напоминающего гобой. Затем к нему добавляются человеческие голоса. Однако они поют не слова, а только отдельные звуки типа “Бюо-бюа-бюи”, которые, кажется, представляют собой все возможные созвучия, доступные человеческому голосу. Что там у Роберта записано? — решаю, что это, должно быть, запись одной из тех вечеринок, на которых его странные друзья распевают всякую бессмыслицу.

Со временем пение переходит в утонченные и изысканные трели, перемежающиеся восхитительным бормотанием, хрюканьем, угуканьем, хихиканьем — все это, очевидно, лишено какого-либо смысла и поется из чистого удовольствия. Затем наступает пауза. Голос говорит: “Дит!”, другой словно отвечает ему: “Да!”. Затем “Дит! Да! Ди-дитти-да!” Потом они начинают звучать быстрее: “Да-ди-дитти-ди-дитти-да! Ди-да-ди-дитти-дитти-да-ди-да-ди-дитти-да-да!” Так продолжается до тех пор, пока, как мне кажется, играющие не начинают сходить с ума. На коробке, которую мне показывает Роберт, написано: “Классическая музыка Индии”. Роберт также говорит мне, что эта запись сделана Алейном Данилоу, которого я всегда знал как самого серьезного, эзотерического и ученого знатока индусской музыки, исповедующего, вслед за Рене Гуэноном и Анандой Кумарасвами, самую формальную, традиционную и заумную интерпретацию йоги и веданты. Почему-то я никак не могу согласовать Данилоу, этого пандита из пандитов, с этим бредовым подражанием человека птичьему пению. — чувствую, что меня разыгрывают. Или, возможно, разыгрывают Данилоу.

Но вполне может быть, что это и не так. О конечно же, это не так! Совершенно внезапно я чувствую, как мое понимание становится необычайно ясным, словно все в моем естестве, а также в самом пространстве-времени, в один миг разверзается до самих своих оснований. Меня переполняет ощущение, что мир совершенно очевиден. — недоумеваю, как я или кто-либо другой могли раньше считать жизнь проблематичной или таинственной. — прошу всех собраться возле меня.

“Слушайте, есть одна вещь, которую я вам должен сказать. — никогда еще, никогда не видел ее так ясно, как сейчас. Однако не имеет ни малейшего значения, понимаете вы меня или нет, потому что каждый из вас вполне совершенен в своем теперешнем облике, даже если вы не подозреваете об этом. Жизнь, по своей сути, является действием, однако никто и ничто не совершает его. Для него нет никакой необходимости случаться ни сейчас, ни в будущем. Это действие движения, звучания и цвета, и подобно тому, как никто не совершает его, оно не случается ни с кем. Проблем жизни просто не существует. Жизнь — это всецело бесцельная игра, цветение, смысл которого в нем самом. В основе всего лежит действие. Время, пространство и множественность — его усложнения. Не существует никакого смысла его объяснять, поскольку объяснения — это еще одно усложнение, еще одно проявление жизни над самой жизнью, действия над действием. Боль и страдания — это крайние проявления игры, но, по большому счету, во вселенной нечего бояться, ведь, что бы ни происходило, оно ни с кем не происходит! Никакого эго вообще не существует. Эго напоминает кувырок, знание о знании, страх перед страхом. Этот причудливый завиток, еще одно необычное ощущение, нечто типа отдачи или эха, напоминающего непостоянство сознания, как и при беспокойстве”.

Разумеется, когда я говорю, что жизнь — это всего лишь действие, деяние без действующего, пострадавшего и цели, мои слова звучат скорее тщетно и безнадежно, нежели

радостно. Однако мне кажется, что это — субстанциональная сущность, подвергающаяся воздействию переживаний, — это скорее минус, нежели плюс. Это отчуждение от переживаний, неполное участие в них. Тогда как в этот момент я чувствую себя полностью с миром, свободным от хронического противостояния переживаниям, поскольку это противостояние блокирует свободное течение жизни и делает наши движения похожими на движения закрепощенных танцоров. Однако мне не нужно преодолевать это сопротивление. — вижу, что источник сопротивления — это — является еще одной неотделимой от общего потока волной на его поверхности, и что на самом деле никакое сопротивление невозможно. Нет позиции, занимая которую можно противостоять жизни и действовать вопреки ей.

* * *

Я снова выхожу в сад. Колибри порхают то вверх, то вниз в своем брачном танце, словно за кустами кто-то сидит и управляет ими. На стол подают фрукты и вино. Передо мной лежат апельсины — творения солнца, созданные по его образу, будто дерево отдало ему дань за полученное тепло. Затем я смотрю на бледно-зеленые, желто-зеленые листья деревьев, которые помню со времен раннего детства в рощах Кента, где распускающиеся весной почки рассыпаны по серым ветвям в клубящемся тумане. За ними стволы, ветки и сучья кажутся водянисто-черным фоном для освещенной солнцем листвы. Кусты фуксий — это хитросплетение стеблей, по которым разбросаны тысячи красных балерин в пурпурных юбках. А за ними возвышается до сумеречного неба роща исполинских эвкалиптов с их колышущейся массой отдельных вытянутых листьев. Все здесь напоминает мелодичную бессмыслицу и самоотверженное вокальное искусство индусских музыкантов.

Я вспоминаю слова из древнего тантрического писания: “Яко волны приходят с водой, а пламя с огнем, так мировые волны приходят с нами”. Действия действий, волны волн — листья превращаются в гусениц, трава в коров, молоко в младенцев, тело в червей, земля в цветы, семена в птиц, кванты энергии в пестрые колышущиеся лабиринты мозга. И везде этот бесконечный экстатический космологический танец сопровождают тяжелые низкие полутона страданий: зубы, жующие чуткие нервные окончания; внезапно жалящая змея в полевой траве; быстрое падение лениво кружившего ястреба; ноющие мышцы лесоруба; бессонные ночи, проводимые за заполнением бухгалтерских книг, как того требует выживание в цивилизованном обществе.

Как непривычно естественно видеть, что боль — больше не проблема! Ведь боль вызывает затруднения только тогда, когда самосознание блокирует мозг и заполняет его коридоры повторяющимся эхом — отвращение к отвращению, страх перед страхом, содрогание от содрогания, вина из-за вины — искаженные мысли, пойманные в круги бесконечных повторений. В своем обычном сознании человек живет подобно тому, кто пытается говорить в помещении с очень чутким эхом; он может чего-нибудь добиться только в том случае, если упорно игнорирует постоянное звучание отражений собственного голоса. Ведь в мозге существуют эха и повторяющиеся образы всех уровней ощущений, мыслей и чувств, продолжающие звучать в катакомбах памяти. Трудность в том, что, принимая за разум обычные воспоминания, мы рассматриваем отдельные сообщения из этого хранилища информации как осмысленные комментарии к тому, что делаем в текущее мгновение. Так же как и от избытка спиртного, от избытка самосознания мы начинаем чувствовать, что двоимся, и принимаем этот двоящийся образ за два различных своих “я” — ментальное и материальное, контролирующее и контролируемое, благоразумное и спонтанное. Так, вместо того, чтобы просто страдать, мы

страдаем от страдания, а затем страдаем от страдания от страдания.

Как всегда говорилось, ясность наступает с отказом от “я”. Это означает, что нужно научиться просто не отождествляться с этими эхами и отражениями. В противном случае, мы оказываемся в зеркальном зале, где продолжаем танцевать, принимая свои отражения за своевольных партнеров по танцу. Мы движемся кругами, потому что следуем тому, что уже сделали. Мы теряем связь со своим подлинным естеством, представляющим собой не совокупность образов, а великое самостоятельное действие текущего мгновения, о котором у нас еще нет воспоминаний. Дар памяти и умение упорядочивать во времени события прошлого создает иллюзию, что прошлое так же относится к настоящему, как действующий — к своему действию, а движущий — к приводимому в движение. Поэтому, передавая инициативу нашим отражениям и живя с оглядкой на прошлое, мы находимся не совсем здесь и поэтому всегда немножко опаздываем на праздник. Но что может быть очевиднее понимания, что прошлое проистекает из настоящего, как расходящиеся волны за кормой корабля, и что если уж нам суждено жить в этой жизни, лучшее место для этого здесь?

* * *

И вот вечер завершает день, который, как мне кажется, длился вечно. В одном конце сада на фоне далекой горной гряды за поляной возвышается полукруг высоких деревьев с густой листвой — полукруг чем-то напоминающий рошу перед древним храмом. Именно отсюда к нам приходят глубокие зелено-голубые сумерки, с приближением которых умолкают птицы и затихает разговор. Мы наблюдаем закат, сидя гуськом на коньке большого сарая, крытого дощечками из красного дерева. Потрескавшаяся и покособившаяся крыша, кажется, доходит до самой земли. Перед нами, на западе, находится небольшая лужайка, где пощипывают траву две белых козы, а еще дальше в этом направлении виднеется дом Роберта с огоньками в кухонных окнах, которые говорят о том, что Берилла готовит ужин. Пришло время уйти в дом и предоставить сад пробуждающимся звездам.

Снова музыка — на этот раз клавесин со струнным оркестром и Бах в его торжествующем стиле. — ложусь, чтобы послушать, и закрываю глаза. В течение всего дня волна за волной по всему спектру восприятия на меня то и дело нисходит осознание моего подлинного естества, которое есть самый первоисток вселенной. — вижу также, что этот первоисток порождается и приходит в действие сам по себе, и что его дух игры и веселья лежит в основе многомерного танца жизни. В мире не осталось проблем, но кто в это поверит? Поверю ли в это я сам, когда вернусь в нормальное состояние сознания? Однако в следующее мгновение я вижу, что это не имеет значения. — играю в прятки, и мое неведение является частью игры, в которой в смысле потерянности можно зайти очень далеко. Как далеко, в таком случае, можно в ней зайти в смысле найденности?

Словно в ответ на этот вопрос перед моими закрытыми глазами появляется символическое видение того, что Элиот назвал “неподвижной точкой кружащегося мира”. Мне кажется, что я смотрю вниз на большой двор из окна замка, стены которого возвышаются над землей. Стены и двор сплошь покрыты керамическими изразцами, на которых изображены яркие золотые, пурпурные и голубые арабески. Сцену можно было бы принять за внутренний дворик какого-то персидского дворца, если бы она не была столь огромна и сверхъестественно изящна. В центре двора находится большая вогнутая арена, формой напоминающая одновременно и звезду и розу и окруженная филигранным мозаичным кругом, выполненным из киновари, золота и горного хрусталя.

В это время на арене под музыку совершается какой-то ритуал. Поначалу общее настроение действия величественно и царственно, будто воины при оружии и придворные в разноцветных мантиях танцуют перед королем. По мере того, как я наблюдаю за ними, настроение меняется. Придворные становятся ангелами с огненно-золотистыми крыльями, а в центре арены появляется круг ослепительного пламени. Глядя в этот круг, я в течение одного мгновения вижу лик, напоминающий мне изображение Крестоса Пантократора на византийской мозаике, и замечаю, что ангелы в благоговейном ужасе попятились назад, прикрыв лица крыльями. Но лик исчезает. Кольцо пламени становится все ярче и ярче, и я вижу, как крылатые создания снова устремляются к нему с выражением не ужаса, а нежности — ибо пламени неведом гнев. Его тепло и сияние — “пламени ласкающий язык” — были откровением столь возвышенной любви, что я почувствовал, что увидел святая святых.

Как я уже говорил, настоящее эссе о действии веществ, изменяющих сознание, является описанием нескольких экспериментов, которые представлены здесь мною как один, чтобы придать повествованию поэтическое звучание. И все же в ходе изложения я старался придерживаться схемы отдельного переживания — своеобразной последовательности циклов, в каждом из которых личность распадается, а затем снова интегрируется, но на этот раз, как кажется переживающему, уже на более разумной основе. Так, вначале личность переживающего чаще всего представляется ему чем-то невообразимо древним, отдаленно знакомым — и при этом преобладают магические, мифологические и архаические ассоциации. Под конец же эксперимента она становится тем, чем человек является в непосредственном настоящем, поскольку теперь ему кажется, что творение мира вершится не в невообразимо отдаленном прошлом, а в вечном настоящем. Похожим образом игра жизни поначалу представляется довольно циничной; она кажется необычайно запутанным противоборством, коварство которого закралось даже в самые альтруистические человеческие начинания. Впоследствии человек начинает во всей этой истории чувствовать себя “старым плутом”, и смех одерживает верх над цинизмом. Однако в конце концов ненасытный космический эгоизм преображается в маску, под которой скрывается немотивированная игра любви.

Однако я не желаю ничего обобщать. — рассказываю лишь о том, что пережил сам, и хочу еще раз подчеркнуть, что психоделики никоим образом не являются мудростью разлитой в бутылки и готовой к употреблению. — чувствую, что, не будь я философом и писателем, вещества, которые устраняют барьер между повседневным обывательским сознанием и многомерным сверхсознанием организма, едва ли дали бы мне нечто большее, нежели приятное, а порой и пугающее смятение чувств. — не утверждаю, что пользу от психоделических переживаний могут получить только интеллектуалы; я хочу сказать, что для того, чтобы применить это расширенное сознание к нашей нормальной, обыденной жизни, нужно уметь дисциплинировать и осмысливать свое восприятие.

Такие средства расширения сознания являются лекарствами и не могут входить в ежедневный рацион. Так как их использование должно содействовать распространению правильного образа жизни, переживания сродни тем, что описаны мной, следует дополнять специальными мерами по укреплению психического здоровья. Среди этих мер самой важной является практика, которую я бы назвал медитацией — если бы это слово не служило обозначением духовной или ментальной гимнастики. — же под медитацией понимаю не практику или упражнение, предпринимаемое в качестве подготовки к чему-либо, не средство к достижению цели в будущем и не систему самосовершенствования. Лучше, чем слово “медитация”, по-моему, слова “созерцание” и “центрирование”, под которыми я понимаю замедление времени, прекращение внутренней спешки и предоставление вниманию возможности пребывать в настоящем — и при этом непреднамеренно наблюдать то, что есть, а не то, что должно быть. Делать это вполне можно — более того, не составляет труда — и без помощи психоделика, хотя препарат обладает тем преимуществом, что он “делает это за тебя”, причем довольно долго и основательно.

Однако те из нас, кто живет в суетливом, слишком уж целеустремленном обществе, более чем кто-либо другой должны выделять промежутки времени для того, чтобы не обращать на время внимания и позволять процессам в сознании случаться без постороннего вмешательства. Внутри таких вневременных интервалов восприятие имеет тенденцию углубляться и расширяться во многом подобно тому, как я описал в этом эссе. Поскольку человек прекращает

воздействовать на переживания своей сознательной волей и не смотрит больше на вещи как на подлежащие преодолению препятствия на своем пути, оказывается возможным поднять на поверхность фундаментальное восприятие мира как единого континуума. Однако не имеет смысла делать это своей целью или пытаться заставить себя видеть вещи подобным образом. Каждое усилие, направленное на то, чтобы изменить свои ощущения, подразумевает и подтверждает иллюзию независимого знающего, или эго, и поэтому попытки избавиться от того, чего на самом деле никогда не существовало, лишь продлевают путаницу. В целом, лучше пытаться осознать свое эго, нежели пытаться избавиться от него. В таком случае мы обнаруживаем, что “знающий” не отличается от восприятия “известного”, будь оно “внешним” объектом или же “внутренней” мыслью либо воспоминанием.

Так начинает выясняться, что вместо знающего и известного есть просто знание, а вместо действующего и деяния — одно только действие. Разделенная материя и форма становятся единой структурой-в-движении. Поэтому, когда буддисты говорят, что реальность “пуста”, они имеют в виду лишь то, что жизнь, эта структура-в-движении, не проистекает из субстанционального основания и не стремится к таковому. Поначалу это может привести в некоторое замешательство, однако, в принципе, отказаться от традиционных представлений в данном случае не сложнее, нежели от идеи о прозрачных сферах, по которым, как когда-то предполагалось, движутся планеты.

В конце концов этот целостный и вневременной уровень восприятия “дополняет” наш обычный образ мысли и действия в практическом мире; он содержит его, но не устраняет. Однако он преобразует его, вселяя понимание, что смысл практического действия — служить вечному настоящему, а не постоянно удаляющемуся будущему, и живому организму, а не механической системе государства и общественного устройства.

Мне кажется, что, кроме спокойного и созерцательного состояния медитации, в нашей жизни должно быть место для чего-то другого, напоминающего духовные практики дервишей. Никто не рискует сойти с ума больше, чем тот, кто в своем уме постоянно: он напоминает стальной мост без гибкости, и поэтому жизнь у него жесткая и ломкая. Манеры и устои западного общества постоянно навязывают нам здравомыслие, и поэтому в нашей жизни нет места для искусства чистой бессмыслицы. Наши развлечения никогда не бывают подлинными, потому что они неизменно рационализированы, и мы развлекаемся лишь потому, что считаем такое времяпровождение полезным для себя, поскольку оно позволяет нам вернуться к работе с новыми силами. В нашей жизни не отведено времени для того, чтобы в благоприятных условиях мы могли полностью отпустить себя. День за днем мы должны покорно тикать, как часы; всякие же “необычные мысли” так пугают нас, что мы сразу же бежим с ними к ближайшему психотерапевту. Наша трудность в том, что мы превратили субботу, священный день отдохновения, во время для потворства рациональности и слушания проповедей вместо того, чтобы в этот день выпускать пар.

Если нашей здравости суждено быть сильной и гибкой, она должна иногда перемежаться периодами полностью спонтанных действий — танца, пения, крика, болтовни, прыганья, стонов и причитаний — короче, периодами деятельности, к которой склоняется весь организм в целом. Никогда нельзя заранее установить физические и моральные ограничения для проявления свободы действий — нельзя указать осмысленные пределы, в которых будет иметь место бессмыслица. Тот, кто иногда дает возможность проявиться своей характерной иррациональности, никогда не будет казаться подавленным и скучающим, но — и это намного важнее — откроет каналы, по которым его сознание будет наполняться созидательной и разумной энергией. Вот почему свободные ассоциации столь важны в процессе психотерапии; они имеют лишь одно ограничение — они вербальны. Функция этих периодов бессмысленной

деятельности не столько в том, чтобы дать выход спертым эмоциям и неиспользованным психическим энергиям, сколько в том, чтобы привести в движение механизмы спонтанного самовыражения, проявления которых поначалу могут показаться бессмысленными, но впоследствии приобретут разумные черты.

Упорядоченные спонтанные действия, как правило, кажутся насильственными, совершаемыми в дуалистическом стиле — путем принуждения себя с помощью воли, которая якобы отличается от остального организма. Однако целостные и интегрированные представления о человеческой природе требуют нового подхода к дисциплине — упорядочивании не насильственных, а спонтанных действий. Важно видеть дисциплину не как инструмент, которым воля пользуется для подчинения организма, а как систему, под которую организм подстраивается сам. В противном случае, чисто механические и организационные цели системы станут более важными, нежели цели организма. Так мы оказываемся в ситуации, когда человек существует для отдыха, а не отдых для человека. Однако прежде чем спонтанное действие выразится в упорядоченной форме, должен прийти в движение поток. Это означает, что мы должны обладать намного большей чувствительностью в отношении всего, что хочет сделать наш организм, и научиться реагировать на его внутренние побуждения.

Наш язык, можно сказать, обязывает нас выражать эту точку зрения неправильно — так, будто “мы”, которые должны быть чутки в отношении намерений организма, которые должны своевременно реагировать на его побуждения, являемся чем-то отличным от организма. К несчастью, наши выражения построены по тому же принципу, что и социальный вымысел, отделяющий сознательное внимание от остального мира и делающий его независимым действующим лицом, которое направляет наши действия. Таким образом мы остаемся в неведении относительно того, чем является наше эго, действующее лицо или сознательная воля. Мы не видим, что эго — не биологическая и даже не психологическая реальность, а такая же социальная условность, как промежутки времени, отсчитываемые по часам. Дело в том, что, работающая вопреки инстинктам, сознательная воля, в совокупности с личностью, или ролью, которую индивид унаследовал от родителей, учителей и знакомых, представляют собой внутреннее проявление, сознательное эхо предъявляемых к нему социальных требований. Это воображаемое, сфабрикованное обществом “я” работает против организма, естество которого выросло биологически. Прививая ребенку фиктивное “я”, родители учат его контролировать себя и подчиняться требованиям общественной жизни.

На первый взгляд, это кажется хорошо сработанным и крайне необходимым устройством для поддержания социального порядка, основанного на личной ответственности. В действительности же, это представляет собой суетливое нерасторопное создание, порождающее намного больше проблем, нежели оно в состоянии разрешить. В той мере, в которой общество учит индивида отождествлять себя с отделенной от организма контролирующей волей, оно лишь усиливает чувство его отчужденности от себя и других. По большому счету, оно усугубляет проблему, которую призвано решать, поскольку создает тип личности, в которой сильное чувство ответственности совмещается с острым чувством оторванности.

Мистическое переживание, независимо от того, вызвано ли оно препаратами или как-то по-другому, позволяет индивиду быть столь открытым и чувствительным в отношении органической реальности, что его эго начинает казаться прозрачной абстракцией, которой оно на деле и является. На месте эго возникает (особенно на поздних стадиях психоделического переживания) сильное ощущение единства с другими, которое, возможно, сродни тому, что присуще птицам, когда во время полета в ключе они поворачивают все вместе, как одно существо. Подобное ощущение, несомненно, дает намного лучшие основания для всеобщей любви и благополучия, нежели иллюзия отдельной воли.

Воздействие психоделиков, кажется, проявляется еще и в том, что они ослабляют защитные психические механизмы, не притупляя при этом восприятия, как происходит в случае употребления алкоголя. Мы начинаем осознавать то, против чего защищаем себя в обычном состоянии, что, по-видимому, может служить объяснением, почему на ранних стадиях эксперимента человек легко поддается беспокойству. Когда же защитные механизмы оставлены позади, мы начинаем видеть не галлюцинации, а аспекты реальности, обычно упускаемые из виду, — в том числе чувство социального единства, которое было давно потеряно цивилизованным человеком. Чтобы вернуть себе это чувство, мы не должны отказываться от культуры и возвращаться на первобытный уровень, так как ни при психоделическом, ни при обычном мистическом переживании человек не утрачивает привычек и представлений, являющихся достоянием цивилизации.

Я отметил, что в подобных переживаниях мы получаем проблески понимания, которым нужно следовать в медитациях. Существуют ли другие пути, следуя по которым мы можем, даже без помощи психоделиков, прийти к такому же чувству единства с другими людьми? Культурный человек Запада обладает вполне оправданной нелюбовью к толпе, к потере себя в “массовом сознании”. Однако между бесформенной толпой и органическим социальным окружением имеется громадное различие. Органическое социальное окружение представляет собой относительно небольшой коллектив, каждый член которого общается со всеми остальными, тогда как толпа — это довольно большая группа, члены которой общаются только с лидером. В силу особенностей своей организации толпа не является целостным организмом. Считать людей “массами” означает видеть в них существа, не достигшие человеческого уровня развития.

Коллективное поклонение в церквях вполне могло бы соответствовать требованиям естественного человеческого общения, если бы богослужение было построено по принципам органического коллектива, а не толпы. Однако прихожане в церкви, как правило, размещаются друг за другом, видя перед собой только затылок впереди сидящего человека и общаются только с лидером — проповедником, священником или символом авторитарного Бога. Многие церкви пытаются изменить такое положение вещей, отводя специальное время для общения прихожан и танцев. Однако такое времяпровождение имеет определенно мирское звучание, поскольку общение людей в данном случае, как правило, оказывается прохладным и сдержанным. Существуют, конечно, дискуссионные группы, в которых лидер или “массовик-затейник” дает возможность высказаться каждому, однако общение, построенное таким образом, также оказывается всего лишь словесным и идейным.

Трудность в том, что защищающаяся защита нашего эго сторонится того самого, что способствует избавлению от нее, — общения, построенного на физических жестах привязанности: ритуалов, танцев и других разновидностей игр, которые явно символизируют взаимную любовь представителей группы. Иногда такая игра естественно и неожиданно начинается между близкими друзьями, однако какое чувство неловкости возникает, когда пытаешься установить подобные отношения между незнакомыми людьми! Тем не менее существуют многочисленные объединения людей, которые, называя себя близкими друзьями, не могут отважиться выразить свое восхищение друг другом физическим и эротическим прикосновением, возвышающим дружбу до уровня любви. Наша проблема — чувство неуверенности и неловкости — возникла потому, что мы упустили из виду огромный диапазон любви, лежащий между формальной дружбой и половым актом. Поэтому мы боимся, что как только наши отношения переступят порог формальной дружбы, мы сразу же скатимся до крайностей сексуальной распушенности или, что еще хуже, гомосексуализма.

Незаполненный промежуток между братской духовной любовью и сексуальной любовью

соответствует размежеванию духа и материи, ума и тела — причем мы привыкли разделять их таким образом, чтобы каждое наше предпочтение или действие относилось к одной стороне. Между этими двумя крайностями нет плавного перехода, и поэтому братская любовь становится безвкусной, а сексуальная любовь грубой. Вот и получается, что отход от братской любви не может не быть стремительным падением в противоположную крайность. Таким образом, тонкие и чудные возможности, находящиеся между этими двумя полюсами, оказываются полностью потерянными. Другими словами, большая часть спектра любви требует отношений, которые мы не можем себе позволить, и вся эта традиция переживать любовь лишь в ее крайних проявлениях напоминает ситуацию, когда вместо целой буханки хлеба покупают только две корки.

Я не имею ни малейшего представления, как можно исправить это положение вещей в обществе, в котором достоинство личности определяется тем, насколько ей удастся держаться в стороне от других, и в котором многие не допускают даже мысли о том, чтобы держать руку того, с кем их не связывают семейные или сексуальные отношения. Насильственная пропаганда установления более близких контактов с другими едва ли сможет дать результат, отличный от замешательства. Остается лишь надеяться, что когда-нибудь наступит время, когда наши защитные механизмы спонтанно дадут трещину, как скорлупа яйца, когда из него должен вылупиться птенец. Эта надежда может снискать себе оправдание в тех отраслях философии и психологии, религии и науки, которые говорят нам, что человек — это не дух, заключенный в строптивую плоть, а организм, неотделимый от своего социального и физического окружения.

Разумеется, такое же представление о человеке мы получаем и под воздействием замечательных препаратов, которые временно подавляют наши защитные механизмы и позволяют нам видеть то, что дуалистическое сознание обычно игнорирует — мир как нерасчленимое целое. Это видение, очевидно, не имеет ничего общего с наркотическими галлюцинациями и суеверными фантазиями. Оно являет нам удивительное подобие той таинственной вселенной, которую пытаются описать современные физики и биологи. Не остается сомнений, что их мысль устремлена в сторону создания единой космологии, которая уже не тяготится старыми представлениями о несоотнесенности ума и материи, субстанции и формы, вещей и событий, действующего и действия, вещества и энергии. И если окажется, что в этой вселенной человек не чувствует и не мыслит себя отдельным субъектом, противостоящим враждебным и угрожающим объектам, мы получим не только космологию единства, но и космологию радости.

notes

Понятие “духовного материализма” здесь имеет положительный оттенок, тогда как у других авторов, например, у Чогьяма Трунгпа, оно наделяется отрицательным смыслом. — Прим. перев.

Нормальной дозировкой мескалина считается 300 миллиграмм, ЛСД-25 — 100 микрограмм, а псилоцибина — 20 миллиграмм. Читатель-неспециалист, интересующийся более детальным описанием этих веществ, а также современным состоянием исследований в этой области может обратиться к книге Robert S. de Ropp “Drugs and the Mind” (Grove Press, New York, 1960).

Речь идет о стране, описанной в антитоталитарном романе О.Хаксли “Прекрасный новый мир”. — Прим. перев.

Все сказанное здесь о психоделиках можно отнести также и к марихуане и гашишу, хотя они и не обладают многими качествами ЛСД.

“Основа” и “уток” — продольные и поперечные нити в ткани.

“Самосознательный человек считает, что думает он сам. Однако уже давно известно, что это не так, поскольку сознательный субъект, считающий себя мыслящим, не есть тот орган, который совершает мышление. Сознательная личность — это всего лишь последовательность мимолетных проявлений, одна компонента мыслящего организма”. — L.L.Whyte, *The Unconscious Before Freud* (Basic Books, New York, 1960), p. 59.